



*из истории
экономической
мысли*

А. А. Хандруев

ГЕГЕЛЬ





А. А. Хандруев

**ГЕГЕЛЬ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЭКОНОМИЯ**



МОСКВА ЭКОНОМИКА 1990

1990-0000
X19

Рецензент канд. экон. наук
С. Л. ЛЕОНОВ

Редакционная коллегия:

Л. И. АБАЛКИН, А. В. АНИКИН,
В. С. АФАНАСЬЕВ,
В. В. КУЛИКОВ, Б. А. МЯСОЕДОВ,
Л. Д. ШИРОКОРАД

Редактор Г. Л. ГУРТОВА

X $\frac{0603000000-136}{011(01)-90}$ 32-90

© А. А. Хандруев, 1990

ISBN 5-282-00086-5

...Никоим образом не следует читать Гегеля... для того, чтобы открывать в нем паралогизмы и передержки, которые ему служили рычагами для построений. Это работа школьника. Гораздо важнее отыскать под неправильной формой и в искусственной связи верное и гениальное.

*(Ф. Энгельс — К. Шмидту,
1 ноября 1891 г.)*

Идеалистическая диалектика Г. В. Ф. Гегеля, которую Герцен называл «алгеброй революции», — признанная вершина классической немецкой философии. Вместе с тем Гегель был творцом системы, примирявшей в конечном счете абсолютную идею с прусской сословной монархией. В его учении удивительным образом переплелись революционные и консервативные элементы. И это отнюдь не случайно — философия Гегеля вобрала в себя противоречия эпохи.

Время, в которое жил мыслитель, — это время Великой французской революции, наполеоновских войн, усиления реакции и реставрации монархии. Это время победных шагов промышленного переворота в Англии, перехода вслед за нею и других стран на индустриальный путь развития. Это время политического уничтожения Германии и подъема ее национального самосознания, брожения умов, кипения страстей и, увы, сведения мелких счетов.

Личность Гегеля была под стать переломному времени. Вокруг его имени ходили различные, часто противоположные, оценки и суждения. На столе Гете стоял бюст Гегеля. Философа боготворили ученики. Но в то же время молодой Шопенгауэр называл его «наглым пачкуном нелепостей». Учение Гегеля было возведено чуть ли не в ранг идеологической доктрины, хотя он так и не добился избрания в члены Прусской академии наук. Рассказывают, будто ежегодно 14 июля философ выпивал бокал вина в честь взятия Бастилии. Однако были и времена, когда в его учении видели аристократическую реакцию на Великую французскую революцию.

Всякого, кто соприкасается с теоретическим наследием немецкого мыслителя, поражает энциклопедичность его познаний, искусное соединение тяжеловесной манеры изложения с метафоричностью языка и богатством смысловой палитры. Трудно отыскать область знания, в которую Гегель не внес бы свой вклад: логика, философия естествознания, права, истории, религии, политическая публицистика, история философской мысли и др. Обо всем этом много написано.

И все-таки до настоящего времени один аспект многогранной творческой деятельности Гегеля остается в тени. Речь идет о его занятиях политической экономией, в развитие которой мыслитель внес заметный и пока еще по достоинству не оцененный вклад. В обширной литературе, посвященной Гегелю, можно буквально по крупицам отыскать публикации о его политико-экономических воззрениях [15, 30, 39, 44, 45, 49, 50]. Исключение составляет фундаментальный труд Д. Лукача «Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества», увидевший свет в 1954 г. на немецком языке (в русском переводе книга вышла в 1987 г.) [28, 45]. Книга Лукача отличается глубиной замысла, богатством сравнительных характеристик

и независимостью суждений. Мастерски проведенный им скрупулезный анализ не содержит ни грама угодливой апологетики. И это тем более важно подчеркнуть, что работа над книгой велась в условиях, когда гегелевское учение было объектом вульгаризаторской критики.

Однако Лукач смотрел на Гегеля-экономиста глазами философа, тогда как сейчас становится важным взглянуть на Гегеля-философа глазами экономиста. К этому во всяком случае обязывает современное состояние политической экономии социализма, с трудом преодолевающей наследие догматизма и славословия.

Автор поставил задачу в систематизированном виде изложить экономические взгляды Гегеля и критически оценить его вклад в развитие политической экономии. Основное внимание отводится рассмотрению вопросов, имевших наиболее важное значение для науки в период ее становления и противоборства различных школ накануне совершенного К. Марксом революционного переворота в политической экономии. Наряду с этим раскрывается значение гегелевской трактовки ряда ключевых экономических категорий для творческого развития науки в современных условиях.

Осознавая всю сложность поставленных вопросов, автор счел бы свою задачу выполненной, если ему удалось дать конспективное изложение политико-экономических воззрений гениального мыслителя.

1.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ГЕРМАНИИ КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВВ.

Механизм переворотов уже не вводит меня в заблуждение, нашему человеческому роду потрясения нужны, как волны — водной глади, для того, чтобы озеро не превратилось в болото.

(И. Гердер)

Даже историческая личность, приоткрывающая современникам завесу будущего, остается пленницей своего времени. Она видит дальше и глубже других, но живет и творит, сообразуясь с обстоятельствами, которые имеются налицо. Формирование экономических взглядов Гегеля пришлось на время промышленного переворота в Англии, стремительно утверждавшего капиталистические производственные отношения. Хозяйственный прогресс превращал ее буквально на глазах в «мастерскую мира» и был особенно поразительным на фоне неторопливо-размеренной, если не сказать провинциальной, прозы германского быта.

Предпосылки промышленного переворота вызревали в недрах мануфактурной системы. «Ее собственный узкий технический базис вступил на известной ступени развития в противоречие с ею же самой созданными потребностями производства» [1. Т. 23. С.

381]. Технические изобретения, появляющиеся в одной отрасли, обуславливали поиск более эффективных средств труда в связанных с нею сферах производства. И если поначалу изменения в технологическом базисе, будучи революционными по своей природе, прокладывали себе путь «черепашьими шагами», то затем промышленный переворот приобрел черты кумулятивно развивающегося процесса.

Революционную роль в переходе капитализма на машинную стадию сыграли установка в 1785 г. на одной из прядильных фабрик паровой машины Дж. Уатта и создание Г. Модсли в 1797 г. токарно-винторезного станка с механическим суппортом, что положило начало металлообработке и машиностроению. Благодаря всему этому Англия вступила в полосу беспрецедентного за всю историю человечества экономического роста. Если во времена Аркрайта (последняя треть XVIII в.) в хлопчатобумажной промышленности машины приводили в движение только 50 тыс. веретен, то в 1817 г. мощности в 20 с лишним тысяч л. с. вращали 6,5 млн. веретен [33. С. 95—96].

В то время как Франция и ряд других стран устремились вдогонку за Англией, технический базис производства в Германии еще долгое время оставался консервативным. Первая паровая машина была установлена в Берлине в 1822 г., а их массовое применение началось только в 50—60-е годы. Достаточно сказать, что в 30-е годы XIX в. в промышленной Силезии работало 8 паровых двигателей общей мощностью около 150 л. с. [42. С. 87]. Таким образом, Германия отставала от Англии по меньшей мере на 50, а то и более лет.

Не следует, конечно, абсолютизировать хозяйственную отсталость Германии. Богатые исторические традиции имело ремесленное производство. В Пруссии,

Силезии, Богемии и Саксонии шел процесс создания мануфактур, утверждавших кооперативный характер труда. В Богемии, например, число фабрик выросло с 50 в 1780 г. до 172 в 1786 г. В Саксонии с 1780 г. начали вводиться механические самопрялки для хлопка. В 80-е годы XVIII в. Силезия вывозила железо в Англию. Широкое развитие получила торговля, обороты которой обеспечивали высокую концентрацию купеческого капитала. В 1765 г. был основан Прусский государственный банк. И тем не менее хозяйственный прогресс имел в Германии, если так можно выразиться, очаговый характер. Страна в целом оказалась не готовой к экономическому рывку.

Причины этого заключались в неподготовленности условий для первоначального накопления капитала. Отставание Германии наметилось с началом великих географических открытий, вызвавших перемещение торговых путей и развитие особо выгодной колониальной торговли на основе неэквивалентного обмена. Происходил упадок ганзейской торговли, центром которой выступала Германия, оказавшаяся, таким образом, в зоне уже выполнивших свою миссию торговых путей.

«Великие революции, — писал К. Маркс, — происшедшие в торговле в XVI и XVII веках в связи с географическими открытиями и быстро подвинувшие вперед развитие купеческого капитала, составляют один из главных моментов, содействовавших переходу феодального способа производства в капиталистический» [1. Т. 25. Ч. I. С. 365]. Эти процессы лишь в слабой степени коснулись Германии. Нельзя сказать, что купеческий и ростовщический капитал не получили в ней развития. Достаточно вспомнить о могуществе торгового дома Фуггеров и гневных филиппиках Лютера против «процентного рабства». Однако в отличие от других европейских стран, где «допотопные» формы

капитала закладывали предпосылки для роста промышленного капитала, Германия позволяла купеческому и ростовщическому капиталу паразитировать в ущерб развитию промышленного предпринимательства.

В значительной степени это объяснялось внеэкономическим сдерживанием процесса отделения непосредственных производителей от средств производства. В то время как в Англии стремительно росла армия лиц наемного труда в результате насильственного сгона крестьян с земель, в Германии сохранялись традиционные формы землепользования. В Восточной Германии преобладало классическое барщинное хозяйство, в Западной и Юго-Западной Германии сложилась в основном оброчная система, с разной степенью жесткости ограничивавшие хозяйственную свободу непосредственных производителей. Прусский король Фридрих II (1712—1786), называвший себя «слугой общества», хотя и провел в середине XVIII в. частичные политические реформы, одновременно ввел паспортную систему и фактически запретил выезд за границу. Заботясь о нуждах армии, он поощрял развитие суконной промышленности и оружейного производства, в то же время запрещал применение машин, опасаясь убыли населения.

В Германии не создавались, с одной стороны, предпосылки для концентрации капитала и его промышленного использования, а с другой — для превращения рабочей силы в товар. Тем самым должным образом не формировались ни объективные, ни субъективные условия для промышленного переворота. Развитию производительных сил страны мешали также непрерывные войны, усиливавшие власть военно-феодальной бюрократии.

Экономическое отставание Германии усугублялось ее политическим положением на европейской карте в виде причудливого конгломерата карликовых

государств. Формально они входили в «Священную Римскую империю германской нации», которая, по меткому выражению Вольтера, не была ни священной, ни римской, ни империей. Коалиции, временные союзы, группировки мешали централизации государственной власти. Каждое германское княжество измеряло свою силу слабостью другого. Утвердилась своего рода деспотия политического плюрализма.

Общественный строй Германии имел ту особенность, что феодальные институты уже теряли способность приспосабливаться к требованиям времени, а капиталистические элементы еще не могли заявить о себе во весь голос. В этих условиях внешняя сила сумела сыграть роль катализатора социального обновления. Такой силой стали наполеоновские войны. Ф. Энгельс писал, что «создателем немецкой буржуазии был Наполеон» [1. Т. 4. С. 48], подтолкнувший отмену крепостного права и содействовавший свободе промысла. В Пруссии отмена личного закрепощения была провозглашена в 1807 г. Однако старое, дополненное политической раздробленностью еще несколько десятилетий сдерживало ломку феодальных экономических и политических структур.

Только в 1818 г., когда в Англии уже пели гимны фритредерству, Пруссия издала указ об уничтожении на своей территории таможенных застав, мешавших формированию единого рынка. В то время как Англия уже осуществила переход к золотому монометаллизму, Германия вообще не имела единой денежной системы. Цеховая система, препятствовавшая развитию свободной конкуренции — этой необходимой жизненной среды для действия законов капиталистического товарного производства, сохраняла устойчивые позиции. Она пала в Германии лишь в 60-е годы. При этом цеховых ремесленников в первой трети XIX в. было в стране больше, чем промышлен-

ных рабочих — соответственно 2 и 1,5 млн. человек. Значительная часть населения занималась сельскохозяйственным трудом. Дух промышленного предпринимательства во многом парализовался склонностью буржуазии к торговой деятельности. К тому же интересы германской буржуазии, слабой и не имеющей своего политического лица, срослись с интересами феодальной верхушки.

Исторические судьбы Германии на стыке двух веков, отмеченных революционными взрывами, оказались таковыми, что ни один класс не мог взять на себя ответственность за перестройку экономических и социальных основ национального быта. И это, по справедливому замечанию Ж. Жореса, объяснялось не только политической раздробленностью Германии и экономической слабостью ее буржуазии. «Важно еще и то, — не без сарказма писал он, — что Германия в течение полувека привыкла к тому, что все прогрессивное исходило сверху» [21. Т. IV. С. 46].

1.2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА

Многие мысли возникают из общей культуры, как цветы из зеленых веток. В период цветения повсюду выпускаются розы.

(Гете)

Развитие человечества отличается своего рода аритмией: периоды социальной апатии и оцепенения сменяются горячкой и революционными взрывами. Многими десятилетиями и даже веками в старом обществе вызревают элементы новой политической и духовной культуры, чтобы, достигнув «критической» точки, превратиться в движение протеста против власти привычек. Именно в недрах старого накапливается интел-

лектуальная энергия, обеспечивающая обществу выживание и прогресс. Обновление идей всегда выступало необходимой предпосылкой обновления социального строя. Одним из ярких подтверждений этому в новой истории служит эпоха Просвещения, создавшая интеллектуальную среду для формирования экономических и социально-политических взглядов молодого Гегеля.

Удивительно меткая характеристика этой эпохи была дана И. Кантом, который писал: «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения» [23. Т. 6. С. 27]. Главной причиной социальной дисгармонии считалось отсутствие свободомыслия. Поэтому важнейшей задачей было просвещение умов. В такой постановке вопроса заключался немалый смысл: человек не может освободить другого от деспотии и рабства, не освободив себя от интеллектуального и духовного отупения. Никто не может гарантировать свободу идей, если идея свободы не стала элементом самосознания народа.

Эпоха Просвещения в лице лучших своих представителей (Ш. Монтескье, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Б. Франклин, Б. Мандевиль, И. Г. Гердер, А. Н. Радищев и др.) была глубоко гуманистичной. Ее отличала вера в силу человеческого разума, социального прогресса и духовных ценностей. На место догмати-

ческого одномыслия и культурной самоизоляции просветители ставили плюрализм идей и связь культур. Под призывами возврата к «естественному» состоянию скрывались поиски общечеловеческих ценностей, способных улучшить социальный порядок. Руссо, горячим поклонником которого был молодой Гегель, писал, что только «просвещенное общественное сознание создаст в социальном организме единство понимания и воли, отсюда же явится правильное соревнование частей и, наконец, величайшая сила целого» [34. С. 33].

Но ставя благородные цели, просветители обращались к поиску утопических средств их реализации. Вольтер, в частности, возлагал одно время особые надежды на союз «государей и философов». Он состоял в переписке с Екатериной II, жил при дворе прусского короля Фридриха II. В этом отношении просветители весьма напоминали древнегреческого философа Платона, который задолго до них выступал с аналогичной идеей. Это могло кончиться для него печально. Тиран, которого «просвещал» Платон, чуть было не отдал его в рабство. Вольтер, к счастью, жил в другие времена, но и он бежал из Пруссии, убедившись в тщетности своих попыток.

В иллюзиях эпохи Просвещения заключалась не только ее слабость, но и сила. Главное, чего добились просветители, — раскрепощение сознания, формирование интеллектуальной и духовной среды, способной ограничить произвол, суеверия и обман. Уходя своими корнями во времена Ренессанса, эпоха Просвещения развивала лучшие традиции английского сенсуализма в лице Гоббса и Локка, рационализма Спинозы и Декарта, французского материализма. Бунт против средневековой схоластики, нашедший в философии Ф. Бэкона целостное выражение, оказал революционизирующее воздействие на всю систему

общественных наук. Дж. Вико заложил основы для переворота в исторической науке, выдвинув на первый план идею циклической эволюции. XVIII в. породил таких титанов философской мысли, как Д. Дидро, П. А. Гольбах, Д. Юм и И. Кант. Именно в эпоху Просвещения произошел взлет политической экономии, которая в трудах Ф. Кенэ, А. Смита, А. Тюрго стала системой научных знаний, перенеся объект исследования из сферы обращения в сферу производства.

Повышенный интерес к политической экономии — характерная примета эпохи Просвещения. Для «Энциклопедии», издаваемой Д'Аламбером и Дидро, статьи по политической экономии писали Руссо, Кенэ и Тюрго. В Англии зачитывались работой Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Это выражало дух времени, отмеченный утверждением буржуазных отношений. Весьма примечательно, что в XVIII в. сложился союз философии и политэкономии. Юм, Руссо, Тюрго, Смит и другие были не только экономистами среди философов, но и философами среди экономистов.

Дух свободомыслия, органически присущий эпохе Просвещения, вошел в плоть и кровь экономической науки XVIII в. Достаточно вспомнить хотя бы работу Кенэ «Китайский деспотизм», в которой аллегорически подвергался критике военно-феодалный характер общественных отношений. «Монополия, рискованные затеи и узурпация общественных интересов во имя интересов частных, — писал Кенэ, — не могут иметь места при хорошем управлении» [24. С. 523]. В «Исследовании о природе и причинах богатства народов» Смит придавал своим теоретическим суждениям недвусмысленную политическую окраску. Он, в частности, писал: «Труд некоторых самых угнетаемых сословий общества подобно труду домашней

слуг не производит никакой стоимости... Например, государь со всеми своими судебными чиновниками и офицерами, вся армия и флот представляют собой непроизводительных работников. Они являются слугами общества и содержатся на часть годового продукта труда остального населения ... К одному и тому же классу должны быть отнесены как некоторые из самых серьезных и важных, так и некоторые из самых легкомысленных профессий — священники, юристы, врачи, писатели всякого рода, актеры, паяцы, музыканты, оперные певцы, танцовщики и пр.» [37. С. 245].

В Германии, как и в других странах, Просвещение охватило все сферы духовной жизни общества. Однако оно началось позднее, чем во Франции и Англии, возникнув как бы на волне свободомыслия. Отчасти благодаря именно этому культурное движение в Германии приобрело более яркие формы и отличалось удивительным богатством одаренных натур. В то же время просветительство в Германии имело свою специфику. Английские и французские просветители исходили из практической потребности освобождения общественного строя от феодальных пут, тормозивших хозяйственный и социальный прогресс. Они шли, если так можно выразиться, от действительности к идее, хотя эта связь не была, разумеется, однонаправленной и очевидной. В Германии же идейное брожение по сути не отражалось на общественно-экономических отношениях, которые оказались на редкость консервативными. Раскрепощение мысли не доходило, за редким исключением, до мысли о раскрепощении социального порядка.

Не имея возможности практически влиять на социально-политический порядок, Просвещение в Германии с тем большей энергией искало выхода в духовной сфере. Музыкальное творчество дало миру таких ти-

танов, как Бах и Гендель. Теория искусства была обогащена работами Винкельмана и Лессинга. Новые идеи в педагогике развивал Песталоцци. Германия дала миру целую плеяду оригинальных мыслителей: Виланда, Гердера, Лихтенберга, Форстера, Канта, Фихте и др. На могучей волне Просвещения поднялись гении Шиллер и Гете. Все это созвездие выдающихся людей представляло собой верхушку огромного интеллектуального айсберга, включавшего множество одаренных личностей.

Высшей ценностью в глазах немецких просветителей выступала идея свободы, которая приобрела форму идеализации эллинского мира. Культ античности был характерен и для других стран, но в Германии он пустил особо глубокие корни. Во многом это объяснялось тем, что идея свободы, лишенная возможности воплотиться в действительность, отличалась абстрактно-отвлеченным, созерцательным характером. На политической карте Германии существовали раздробленные государства, для централизации которых не было создано экономических и правовых предпосылок. Именно поэтому греческие полисы воспринимались в качестве демократической альтернативы развития разобщенной Германии.

Немецкое просвещение имело еще и ту специфику, что среди его представителей большой популярностью пользовалась идея национального единства. В 70-е годы XVIII в. возникло литературное направление «Буря и натиск», которое поначалу служило пробуждению национальных чувств и выступало в качестве силы, оппозиционной феодально-дворянской элите. Движение штюрмеров оказало заметное влияние на раннее творчество Гете, Шиллера, Гельдерлина и других немецких поэтов и писателей, создавших целую галерею образов бунтарей. Гете рисует образ благородного рыцаря Геца фон Берлихингена. Шиллер из-

бирает к своей драме «Разбойники» политически заостренный эпиграф: «На тиранов!» Поэт трагической судьбы, Гельдерлин, друг юности Гегеля, писал в «Гимне свободе»:

И когда, придя к заветной цели,
Мы пожнем тот вожделенный плод,
И тиранов, правивших доселе,
Сбросит в прах немецкий мой народ...
- (Перевод Л. Гинзбурга)

Немецкие просветители с большим воодушевлением восприняли весть о Великой французской революции, хотя далеко не все из них одобрительно отнеслись к якобинской диктатуре. Еще более двойственным отношение к революции стало после того, как революционные войны Франции подошли к границам Германии. Идея свободы вступила в конфликт с идеей национального самосознания. Энтузиазм все больше сменялся скепсисом. Признавая очистительное начало социальной революции, немецкие интеллектуалы, за редким исключением, все меньше признавали за ней способность гарантировать демократические свободы.

И тем не менее духовная среда, сложившаяся в большинстве западно-европейских стран во второй половине XVIII в., развивала неприязнь ко всему косному. Она подняла могучую интеллектуальную волну, на гребне которой удерживались действительно выдающиеся личности. Гегель был одной из них.

Он родился 27 августа 1770 г. в Штутгарте, столице Вюртемберга, расположенного среди Швабских высот, давших миру Шиллера, Гельдерлина и Шеллинга. Гегель вырос в протестантской бюргерской семье. Гегель всегда с благодарностью вспоминал мать, которую он потерял в 13 лет. Его отец, секретарь казначейства, хотя и не был человеком выдаю-

щихся способностей, но всячески поощрял интерес сына к чтению и занятиям.

Детские и юношеские годы философа не отличались какими-либо фактами, позволявшими бы угадать в нем гениального мыслителя. Единственное, что отличало Гегеля, — это его трудолюбие и вдумчивость. Он рано начал делать обширные выписки из прочитанного, сохранив верность этой привычке на всю жизнь. Возможно, такая привычка отражала склонность к размышлениям и внутреннюю, напряженную работу мысли. Впоследствии, говоря о пифагорейском методе воспитания, при котором ученики обрекались на пятилетнее молчание, Гегель отмечал, что начинать надо с того, чтобы научиться понимать мысли других, а это требует отвлечения от наших собственных мыслей [27. С. 9].

В 1788 г. Гегель поступает на богословский факультет Тюбингенского университета, где он в отличие от своих товарищей мало увлекается физическими упражнениями, хотя и не хочет отставать от них в разного рода развлечениях. Но и здесь мало что ему удается: у студентов он получил кличку «старик». Однако такая кличка отнюдь не служила свидетельством признания глубины и зрелости его суждений. Видимого интереса к философии Гегель в юношеские годы не проявлял. И в этом существовал разительный контраст между ним и его другом Шеллингом, который, будучи моложе на пять лет, значительно раньше обрел теоретическую самобытность. По иронии судьбы в выпускном свидетельстве, которое Гегель получил по окончании богословского факультета, было записано: «В философии никаких стараний не проявил» [18. С. 18].

Юного Гегеля гораздо больше влекла не философия, а политика. Он с энтузиазмом принял известие о взятии Бастилии. По преданию, Гегель вместе со

своими друзьями Шеллингом и Гельдерлином сажает символическое дерево свободы. Он вступает в политический клуб, на заседаниях которого выступает с речами в защиту свободы, равенства и братства. Студенческий альбом Гегеля полон революционных призывов. Как и другие члены Тюбингенского кружка, философ увлекается идеями Руссо, особенно его «Общественным договором».

Духовные традиции Вюртемберга, несмотря на мелкокняжеский деспотизм герцога Карла, содействовали идейному возмужанию Гегеля. Именно в Швабии Шиллер написал знаменитых «Разбойников»; Шубарт издавал вольнодумную газету «Немецкая хроника», поплатившись за это десятилетним заключением в крепости; Шеллинг перевел на немецкий язык «Марсельезу». Даже не приняв якобинской диктатуры, Гегель до конца своих дней сохранил благодарные чувства к Великой французской революции, называя ее «великолепным восходом солнца». В силу разных причин, но прежде всего по идейно-политическим мотивам, Гегель отказался от уготованной ему карьеры священника. В нем политик проснулся раньше философа. Первая, анонимно опубликованная в 1798 г. работа Гегеля была посвящена социальной критике верхушки бернского сословия.

Окончив Тюбингенский университет, Гегель уезжает в Берн, а затем во Франкфурт, где работает в качестве домашнего учителя. В этот период он пишет философские работы, заложившие фундамент идеалистической диалектики. И хотя революция пошла на убыль, Гегель сохраняет вкус к социальным проблемам, обнаруживая удивительную способность к пониманию внутренних пружин общественного устройства. В частности, в письме к Шеллингу (январь 1795 г.) он отмечал: «Ортодоксию невозможно поколебать до тех пор, пока ее проповедь связана с земными выгодами и

вплетена в целостный государственный организм» [4. Т. 2. С. 218]. Именно в эти годы у Гегеля просыпается интерес к политической экономии, который он пронес по сути через всю жизнь.

1.3. ЗАНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЕЙ

*...Бранил Гомера, Феокрита,
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золото ему,
Когда простой продукт имеет.*

(А. С. Пушкин)

Грандиозная философская система немецкого мыслителя формировалась в период расцвета классической буржуазной политической экономии, связанного с именами выдающихся ее представителей А. Смита, Д. Рикардо. Конец XVIII — начало XIX вв. оказались удивительно богатыми на экономические сочинения, среди которых были и труды систематизатора науки Сэя, и преисполненные обличительного пафоса работы Сисмонди, и скандально нашумевший опус Мальтуса. Временами казалось, что английский парламент превращается в дискуссионный клуб по проблемам денежного обращения, налогов и торговой политики. Острые дебаты на экономические темы велись и в других европейских странах.

Гегель рос в атмосфере буквально повального увлечения политической экономией, начало которому положил фундаментальный труд А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Его духовное развитие в пору молодости проходило под мощным влиянием Великой французской революции,

пьянившей лозунгами свободы, равенства, братства. Для Гегеля не могли остаться незамеченными созвучные эпохе идеи Смита и физиократов об естественном порядке, «невидимой руке» и свободе торговли. По словам Лукача, он был «единственным немецким мыслителем, который серьезно анализировал проблему промышленной революции в Англии. Единственным, кто связал проблемы классической английской политэкономии с проблемами философии, диалектики» [28. С. 741]. Вместе с тем в его обширном теоретическом наследии не нашлось места более или менее обобщающему изложению экономических взглядов. В чем же дело?

В какой-то мере это можно объяснить тем, что Гегель не находил политической экономии как «расчудочной» науке места в эволюции и самопознании мирового духа. Имеется и другой подход, согласно которому «анализ экономических отношений составляет часть гегелевской философии права» [38. С. 114], а следовательно, политической экономии и не требуется самостоятельный статус. Однако суть дела состоит отнюдь не в том, что Гегель принижал роль экономической науки или давал ей философско-правовую интерпретацию.

Не следует забывать также и о том, что предмет исследования не достиг еще классических формообразований. Исторический процесс хозяйственного развития тогдашней Германии не выделил устойчивых характеристик экономической структуры общества, которые могли бы быть положены в основу ее анализа. В этом плане особый интерес имеет следующее замечание Ф. Энгельса: «Немцы давно уже доказали, что во всех областях науки они равны остальным цивилизованным нациям, а в большей части этих областей даже превосходят их. Только среди корифеев одной науки — политической экономии — не было ни одного немец-

кого имени. Причина этого понятна. Политическая экономия есть теоретический анализ современного буржуазного общества и предполагает поэтому развитые буржуазные отношения, отношения, которые в Германии в течение столетий ... не могли возникнуть» [1. Т. 13. С. 489].

Отсюда понятно, почему при изложении своих экономических взглядов Гегель не выходил за рамки философского принципа. Объективная социально-экономическая действительность тогдашней Германии не давала материала для необходимых обобщений о внутренней структуре «гражданского общества», которые могли бы быть выражены в ясной и последовательной теоретической форме. Именно поэтому в философской системе мыслителя экономические аспекты составляют, как уже указывалось, эзотерический элемент его теоретической конструкции.

Двойственность умонастроения Гегеля в вопросах экономической науки заключается в том, что он, воспитанный на английской буржуазной политической экономии, исходил из германской действительности. Его теоретические взгляды, таким образом, проходили своеобразную эмпирическую проверку, верификацию на почве отношений менее развитых. И отнюдь не случайно Гегель рассматривал экономические проблемы сугубо философски, сквозь призму философии общества.

В своих экономических воззрениях Гегель пытался опираться на коммерческие, буржуазные отношения, но делал это непоследовательно, колебался на различных этапах своей творческой биографии. И в этом смысле философ сделал шаг назад по сравнению с классической буржуазной политической экономией. Ему не удалось даже поставить проблему анализа таких категорий, как капитал, прибыль, ссудный процент, рента, заработная плата, и др.

В то же время Гегель в определенном плане стоял выше даже лучших представителей буржуазной экономической мысли. Его решающее преимущество заключалось в методе исследования. Диалектика, пусть идеалистическая, и при отсутствии необходимого эмпирического материала позволяла видеть предмет в саморазвитии, в многообразии связей и опосредствований. Гегелю удалось в спекулятивной форме высказать ряд догадок, которые во многих отношениях ставят его как экономиста к Марксу ближе, чем классическую буржуазную политэкономия.

Гегель оказался по сути единственным представителем классической немецкой философии, в наследии которого нашлось место законам и категориям политической экономии. Исключением может быть лишь работа Фихте «Замкнутое торговое государство», где чувствуется влияние физиократической школы.

Изучение экономических проблем философ начал еще во Франкфурте в связи с подготовкой «Доверительных писем о прежних государственно-правовых отношениях Водтланда к Берку» (1798 г.). По свидетельству его первого биографа К. Розенкранца, Гегель в этот период следил, делая выписки из английских газет, «за парламентскими дебатами о налоге в пользу бедных, как о подачке, с помощью которой дворянская и финансовая аристократия пыталась успокоить неистовство неимущей толпы» [28. С. 208]. Для молодого Гегеля был характерен повышенный интерес к Франции и Англии. Если в первой стране его привлекали формообразования политической жизни, сложившиеся в результате буржуазной революции 1789 г., то Великобритания выступала носителем наиболее развитых экономических отношений.

В период между 19 февраля и 16 мая 1799 г. Гегель составил не дошедший, правда, до наших дней

подробный комментарий к немецкому переводу книги видного английского экономиста Дж. Стюарта [28. С. 208—209; 48. Р. 57], являвшегося до выхода «Исследования о природе и причинах богатства народов» А. Смита самым авторитетным экономистом. Имеются, на наш взгляд, достаточно веские основания полагать, что идеи Стюарта оказались созвучными со все более овладевавшим Гегелем принципом историзма.

Основная работа Дж. Стюарта «Исследование о началах политической экономии» была опубликована в 1767 г., за 10 лет до книги А. Смита. Его можно назвать экономистом, который, оставаясь на позициях меркантилизма, уже теоретически преодолевал его. Стюарт выступал сторонником активного вмешательства государства в экономическую жизнь, что применительно к условиям хозяйственной стагнации и политической раздробленности Германии конца XVIII в. казалось прогрессивным и было хорошо понятным. Предметом его исследования по преимуществу выступала сфера обращения, в которой отражались поверхностные формы проявления товарного производства.

Разделяя взгляд, согласно которому прибавочная стоимость возникает в обмене, Стюарт в то же время близко подошел к научной постановке этого ключевого вопроса. Он разграничивал положительную и относительную прибыль. Первая — результат «увеличения труда, усердия и мастерства». Вторая — возникает в процессе неэквивалентного обмена при продаже товаров по цене выше стоимости. Оригинальностью отличались идеи Стюарта в области теории денег. Им была выдвинута хотя и ошибочная для условий металлического стандарта, но в целом плодотворная концепция «идеальной денежной единицы». В ней отрицалась внутренняя связь между счетными деньгами и благородными металлами. Однако номи-

пализм Стюарта имел, если так можно выразиться, характер научной гипотезы. В современных условиях, когда завершился процесс демонетизации золота, его идеи о счетных деньгах получают новую жизнь.

Но не теория прибыли и не учение о деньгах больше всего привлекали Гегеля в Стюарте. По всей вероятности, философ обратил особое внимание на исторический подход английского ученого к анализу хозяйственных явлений. В работе Стюарта можно найти обширные исторические экскурсы, он ближе других экономистов подошел к раскрытию внутренних законов первоначального накопления капитала и экспроприации непосредственных производителей.

Дж. Стюарт видел исторический характер товарного производства и обмена. В частности, он разграничивал три ступени последнего: 1) мена, 2) купля-продажа, 3) торговля. «Стюарт раньше всех других, — подчеркивал К. Маркс, — уразумел разделение труда и производство меновых стоимостей как нечто истинное и, похвально отличаясь от других экономистов, понял это как форму общественного производства и общественного обмена веществ, опосредованную особым историческим процессом» [1. Т. 46. Ч. II. С. 449—450].

Изучение работы Дж. Стюарта подготовило Гегеля к чтению фундаментального труда А. Смита. Наиболее насыщенным занятиями политической экономией был период, который был увенчан «Системой нравственности», «Иенской реальной философией» и «Феноменологией духа», законченной в 1806 г. В них ясно видны результаты интенсивного обдумывания важнейших проблем экономической науки. Имя Смита упоминается в рукописях к иенским лекциям 1803—1804 гг. [28. С. 210]. Но дело не только в этом. Главное заключается в том, что в работах иенского периода в число основных выдвигается проблема труда, в

связи с которой рассматривается деятельностная сущность человека, анализируется общественное разделение труда и его роль в развитии «гражданского общества».

В последующих работах Гегеля, вплоть до «Философии права», его экономические воззрения пребывают как бы «в тени», но это не означает угасания интереса в политэкономии. Это подтверждается тем, что в «Философии права» Гегелем высказываются более зрелые суждения о предмете политической экономии, ее законах и категориях. Здесь он упоминает имена Рикардо и Сэя. В этой работе Гегель сумел в максимально возможной степени оторваться от обремененной феодальными пережитками немецкой почвы и подняться до атомизированного «гражданского общества», под которым по существу понималось капиталистическое товарное производство.

«НАУКА, ДЕЛАЮЩАЯ ЧЕСТЬ МЫСЛИ»

Аппарат научного мышления груб и несовершенен; он улучшается, главным образом, путем философской работы человеческого сознания. Здесь философия могущественным образом в свою очередь содействует раскрытию, развитию и росту науки.

(В. И. Вернадский)

Политическая экономия уходит своими корнями в нерасчлененную науку древности. Ее гениальными детьми были древние греки, хотя и не поднявшие политическую экономию до уровня самостоятельной науки, но внесшие выдающийся вклад в понимание ряда ее проблем. Для развития экономической науки тогда не было необходимых материальных предпосылок. Производство не приобрело черт общественного процесса, господствовали натурально-хозяйственные отношения.

Понадобилось почти 2 тысячи лет, чтобы наука получила имя. В 1615 г. француз А. де Монкретьен издал «Трактат о политической экономии». Но даже получив имя, наука не могла определить предмета исследования. Будучи приверженцем меркантилизма, Монкретьен под политической экономией понимал

науку о путях и способах обогащения королевской власти, т. е. отождествлял ее с экономической политикой. В сфере интересов политэкономии находились вопросы обращения и обмена, тогда как изучению процесса производства не придавалось значения.

И только с перенесением объекта исследования из сферы обращения в сферу производства политэкономия начала приобретать черты научной системы. Этот процесс был связан прежде всего с именами выдающихся экономистов Кенэ и Смита. Но и найдя свой предмет, политическая экономия еще долго не могла отыскать адекватного ему способа исследования. Наряду с глубокими, проникающими во внутреннюю структуру капиталистического воспроизводства суждениями экономисты продолжали заниматься систематизацией и каталогизированием внешне воспринимаемых форм хозяйственной жизни.

В значительной степени такая трактовка предмета политэкономического анализа была неизбежной, поскольку восхождение от абстрактного к конкретному требовало в качестве предварительного условия фиксацию отдельных свойств, черт и моментов реально существующих производственных отношений. К тому же система капиталистического производства находилась в становлении и не обрела еще целостности. Формирование политико-экономического знания происходило как бы на двух уровнях — на абстрактно-теоретическом и эмпирическом, причем последний явно преобладал.

Это не могло не отразиться и на понимании предмета политэкономии. В «Богатстве народов» Смита давалось следующее его определение: «Политическая экономия, рассматриваемая как отрасль знания... ставит себе две различные задачи: во-первых, обеспечить народу обильный доход или средства к существованию, а точнее, обеспечить ему возможность

добывать себе их; и во-вторых, доставлять государству или обществу доход, достаточный для общественных потребностей» [37. С. 313]. Смитовская трактовка предмета политэкономии отличалась явно выраженным практицизмом. В этом, с одной стороны, находили отражение отголоски меркантилистских воззрений, отождествляющих политэкономия с экономической политикой. С другой стороны, здесь сказывались и философские взгляды Смита, являвшегося автором «Теории нравственных чувств», в которой доминировали сенсуалистские традиции Гоббса, Локка и Юма.

В немалой степени именно под влиянием авторитета Смита в экономической литературе утвердилось такое понимание предмета политэкономии. В частности, Д. Ж. Милль считал, что «предметом политической экономии служит богатство» [30. С. 23]. Но то, что имело у Смита антифеодалную окраску и отражало потребность в устранении искусственных препятствий на пути к пониманию «естественных», т. е. буржуазных, законов, в сочинениях его адептов превратилось в аргумент против абстрактно-теоретических построений, раскрывающих внутреннюю природу капиталистического производства.

Описательный подход стал чуть ли не символом веры большинства современных Гегелю экономистов. Таким самым политэкономия уравнивалась с конкретными экономическими дисциплинами, лишалась по существу права на самостоятельный предмет исследования. Факты и явления хозяйственной жизни, взятые сами по себе, образуют лишь отправной пункт теоретического анализа. Задача политэкономии состоит не в том, чтобы увидеть факт, а выяснить, что стоит за ним и какова внутренняя связь между экономическими явлениями.

Из выдающихся экономистов это лучше других

понимал Д. Рикардо. В письме к Т. Мальтусу, видевшему предмет политэкономии в исследовании природы причин богатства, он писал, что ее «следует скорее назвать исследованием о законах, на основе которых продукт труда распределяется между классами, участвующими в его создании» [32. Т. V. С. 110—111]. Неправомерно ограничивая задачу науки исследованием законов распределения общественного продукта, Рикардо в то же время решительно противостоял вульгаризаторским трактовкам политэкономического знания.

Наряду с ним Гегель был одним из немногих ученых того времени, понимавшим действительное значение предмета общей экономической теории. В «Философии права» встречается панегирик этой области научного знания. «Почва здесь или там более или менее плодородна, годы различаются между собой по своей рожайности; один человек трудолюбив, другой ленив. Но этот кишмя кишущий произвол порождает из себя всеобщие определения, и факты, кажущиеся рассеянными и лишенными всякой мысли, управляются необходимостью, которая сама собой выступает. Отыскание здесь этой необходимости есть задача политической экономии, науки, которая делает честь мысли, потому что она, имея перед собой массу случайностей, отыскивает их законы» [3. Т. VII. С. 218].

Никто в Германии того времени не говорил подобного. В то время как французские и английские ученые начали употреблять термин «политическая экономия» еще в первой половине XVII в., немецкие экономисты — современники Гегеля — им не пользовались. Возьмем самых маститых из них. Мюллер, например, издал в 1810 г. работу под названием «Элементы искусства управления государством», Тюнен выпустил в 1826 г. книгу «Изолированное государство». Наиболее крупная работа Листа, который впер-

ные в экономической мысли Германии стал говорить о политической экономии как о системе теоретических взглядов, но и то под названием «национальная экономика», вышла в 1841 г., спустя 10 лет после смерти Гегеля.

В немецких университетах господствовала камералистика, в задачи которой входило описательное изложение «всей суммы общественных наук с упором на теорию и практику управления государством» [10. С. 305—306]. Называя политическую экономию наукой, делающей честь мысли, Гегель был просто «белой вороной», поскольку экономическая мысль Германии сохраняла упорную приверженность к сбору фактических данных и чуждалась широких теоретических обобщений.

Гегель видел в политэкономии науку, делающую «честь мысли», именно потому, что она встает над эмпирическим здравым смыслом и позволяет проникать во внутреннюю связь вещей. Философ вплотную подошел к пониманию того, что действительным предметом политэкономии выступают не зависящие от воли и сознания, противоречащие внешне наблюдаемым явлениям глубинные экономические процессы, посредством которых реализуется необходимость. «Интересно видеть, — писал Гегель, — как все взаимозависимости оказывают здесь обратное действие, как особенные сферы группируются, влияют на другие сферы и испытывают от них содействие себе или помеху. Эта взаимная связь, в существование которой сначала не верится, замечательна главным образом тем, — и сходна в этом с планетарной системой, — что она всегда являет глазу лишь неправильные движения, и все же можно познать ее законы» [3. Т. VII. С. 218].

В противоположность «практическому подходу» философ развивал совершенно новый взгляд на политическую экономию. Ее главную задачу он видел не

в том, чтобы описывать и систематизировать хозяйственные явления, искусственно подгоняя теорию под практику. И в этом вопросе позиция Гегеля приближается к определению предмета науки, данному впоследствии Ф. Энгельсом в «Анти-Дюринге». Считая областью исследования политэкономии производственные отношения, Ф. Энгельс писал: «Политическая экономия, в самом широком смысле, есть наука о законах, управляющих производством и обменом материальных жизненных благ в человеческом обществе» [1. Т. 20. С. 150].

Вопрос о предмете политической экономии является действительно отправным пунктом понимания внутренней природы экономического знания. На одних этапах истории ее границы неоправданно расширялись — она ассимилировалась с экономической политикой; а других — преобладал метафизический подход, оторванный от живой действительности. В первом случае размывалась и без того трудноуловимая граница между общими и частными экономическими науками, во втором — политическая экономия отгораживалась от всей системы экономических наук. В обоих случаях недооценивалась специфика политэкономии, главная функция которой заключается в раскрытии всеобщей связи хозяйственных явлений и обосновании в теоретически последовательной форме наиболее эффективных путей социально-экономического развития. Она призвана быть философией хозяйства.

Величайшая заслуга Гегеля состоит в том, что он первым увидел связь политэкономии и философии. Последующая история науки подтвердила, что для политэкономии, выступающей методологической основой всей системы экономических дисциплин, особенно важным является единство подлинно стратегического взгляда на мир хозяйственных отношений и культуры мышления. Политэкономия, если она не хо-

чет потерять собственного лица и предмета, должна идти навстречу философии. В этом союзе ее сила и спасение. Именно об этом говорят уроки кризисного развития политэкономии социализма.

Если в 20-е годы среди значительной части советских экономистов действительно наблюдалось стремление развивать аппарат научных абстракций, а вместе с тем повышать философскую культуру, то затем исподволь стал утрачиваться вкус к изучению истории экономических учений, трудов выдающихся мыслителей, в первую очередь представителей классической немецкой философии.

Пренебрежение умственной развитостью в экономической науке делает последнюю весьма беззащитной против натиска непрофессионализма, принимающего форму либо плоского теоретизирования, либо воинствующего эмпиризма. Мало кто посчитает себя сведущим в ядерной физике, однако вряд ли найдется умеющий читать и писать, который не имел бы собственных представлений о принципах рационального хозяйствования. Эта мнимая доступность образует питательную почву для произвольных и непродуманных действий в сфере хозяйственных отношений. Неглубокие знания рождают облегченные представления, а последние закрепляют стойкое неприятие теоретических начал в экономической науке. Вряд ли есть особая нужда лишний раз доказывать то, что сложность знания не должна отождествляться с ложностью его.

Предубеждение против союза философии и политэкономии неизбежно оборачивается легковесной критикой теории, якобы оторвавшейся от практики. Нельзя отрицать, что абстрактные схемы-пустоцветы, жонглирование цитатами и смирение перед догмами действительно слишком глубоко вошли в плоть и кровь политэкономии социализма. Но дело отнюдь не в оторванности ее от жизни, а в разорванности практики и подлинно теоретического взгляда на положение дел. Между тем среди широкого круга людей распространено мнение, что экономическая теория оторвалась от практики и ее необходимо к ней приблизить. С этим можно было и согласиться, если бы практика не понималась зачастую утилитарно-прагматически.

Закономерно встает вопрос: ко всякой ли практике следует приближать теорию? И не надо ли зачастую, наоборот, поднимать практику до требований не столько даже теории, сколько элементарного здравого смысла? С какой готовностью вспоминают

това о практике как критерии истины, забывая положение о том, что без революционной теории не может быть революционной практики.

Конъюнктурное понимание единства теории и практики неминуемо оборачивается застоём научной мысли, засильем административного корпуса в науке, погоней за легким успехом и эфемерными поблщениями. Вспомним в этой связи об одном удивительном парадоксе в истории советской экономической мысли. В речи на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г. И. В. Сталин говорил: «...надо признать, что за нашими практическими успехами не поспевает теоретическая мысль, что мы имеем некоторый разрыв между практическими успехами и развитием теоретической мысли. Между тем необходимо, чтобы теоретическая работа только поспевала за практической, но и опережала ее, вооружая ших практиков в их борьбе за победу социализма» [39. Т. 12. 142]. Но именно тогда, когда принялись ратовать за единство теории и практики, почему-то стали проявляться первые признаки эмпиризма, начертничества и окостенения общественных наук.

Но было бы поспешным на этом основании отрицать всякую связь схоластического теоретизирования в политической экономии социализма с практикой. В частности, практика застоя ждала своего теоретического оправдания, а оторванная от жизни теория искала убежища в конъюнктурно понимаемой практике. Их единство восстанавливалось, но в весьма своеобразной форме: практика застоя руководствовалась удобной теорией и служила вместе с тем критерием истинности последней. Вопреки своему призванию — идти впереди практики и освещать ей путь — теория плелась в хвосте. И опасен был не отрыв теории от практики, а их конъюнктурно понимаемый союз.

Вернемся, однако, к Гегелю, которому не удалось бежать в трактовке предмета политической экономии элементов двойственности и освободить его от правовой интерпретации. В известной степени можно согласиться с Э. Ю. Соловьевым, который пишет: «Экономические явления берутся Гегелем в их правовом понимании и действительно затрагиваются его исследованием лишь в том составе и лишь там, где они оказываются непосредственной подоплекой правовых отношений» [38. С. 115]. Однако не следует забывать и о том, что мистификация взаимосвязи экономики и права Гегелем имела свою рациональную основу, отра-

жая особенности социально-экономической жизни Германии. В то время как Англия делала символом веры свободу торговли, Германия держалась протекционизма в интересах нарождающейся буржуазии. Процессы хозяйственной и политической консолидации немецкой нации нуждались в мощной поддержке государства, которому еще рано было играть роль «ночного сторожа». И подобно многим мыслителям, опередившим свое время, Гегель искал компромисса между теоретической совестью и практическими интересами.

2.2. АЛЬФА И ОМЕГА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется.

(Ф. М. Достоевский)

Наиболее важным, если не ключевым, разделом экономических воззрений Гегеля, получившим достаточно последовательное развитие и обоснование прежде всего в работах иенского периода (1801—1807 гг.), следует, вне всякого сомнения, считать проблему труда. Именно с ее разработкой связано формирование диалектической концепции исторического процесса, учения о «гражданском обществе» как о строе обособленных товаропроизводителей, представлений о категориях стоимости и денег. Заслуга Гегеля заключается в том, что ему удалось поставить обсуждение труда в качестве одного из центральных философских и социологических понятий.

Имеются достаточно веские основания полагать, что повышенное внимание Гегеля к анализу труда вызвано его интересом к изучению теоретического наследия классической буржуазной политэкономии. Лукачем была высказана обоснованная гипотеза, согласно

которой «именно с изучением работ Адама Смита связан поворотный пункт в развитии взглядов Гегеля, потому что проблема труда, как основного способа человеческой деятельности... впервые возникла у Гегеля, очевидно, в ходе изучения работ Адама Смита» [28. С. 210].

Философ рассматривал труд в качестве условия и основы формирования человека как существа деятельностного. Он говорит, что «труд есть посюстороннее делание-себя-вещью» [4. Т. 1. С. 306]. В процессе труда человек, распредмечивая мир, тем самым опредмечивает себя в нем, а следовательно, осуществляет собственное самовыражение и самоутверждение. Особенно яркая характеристика роли труда в развитии общества дана в «Феноменологии духа», которую К. Маркс, как известно, называл «истинным истоком и тайной гегелевской философии» [1. Т. 42. С. 155]. В ней Гегель говорит: «Рука больше, чем что бы то ни было, служит человеку для проявления и воплощения себя. Она — одушевленный кузнец его счастья» [3. Т. IV. С. 168]. В другом месте, в «Энциклопедии философских наук», характеризуя труд, он определяет руку как «орудие орудий» [6. Т. 3. С. 213]. Следовательно, в комбинации факторов производства Гегель ясно видит приоритетную роль живого труда, обладающего творческой, созидательной потенцией.

В этой связи весьма любопытна гегелевская интерпретация взаимосвязи труда и средств, с помощью которых он совершается. В «Системе нравственности» (1802—1803 гг.) философом четко обозначена мысль, что только благодаря труду средства производства могут участвовать в освоении природного мира. Вырванное из процесса трудовой деятельности орудие превращается в пустую вещь. «Созерцание, подведенное под понятие, — писал Гегель, — является в различии средним термином ... средний термин как таковой

является совершенно внешним в отношении различия понятия; внутреннее есть чистое, пустое количество. Этот средний термин есть орудие» [8. С. 289]. Тем самым устанавливается субординация между трудом как таковым и его орудиями. Такой подход отвечал лучшим традициям классической буржуазной политической экономии.

Благодаря историческому чутью мыслитель видел качественное различие между живым и овеществленным трудом. В «Системе нравственности» Гегель высказывал глубокие суждения о роли орудий труда в развитии общества. «С одной стороны, — пишет он, — орудие труда является субъективным, находится во власти трудящегося субъекта и всецело определяется через него же, а с его помощью изготавливается и обрабатывается, с другой стороны, оно является объективно направленным на предмет труда» [8. С. 289]. В противоположность продуктам труда, которые остаются в сфере единичного, орудие наделяется им статусом всеобщего, Гегель называет орудие «реальной разумностью труда» и делает вывод, что «субъективность труда возвышается в орудии до всеобщего: каждый может делать его подобие и также трудиться: в этом отношении оно является неизменной принадлежностью труда» [8. С. 290].

В занимаемой Гегелем позиции иногда неправильно усматривали недооценку категории продукта труда. В частности, вряд ли можно согласиться со следующим утверждением: «Гегель не понимает, что сами средства труда являются продуктами производства. Не случайно поэтому он не подразделяет производство на две сферы — производство средств производства и производство предметов потребления; он отождествляет материальное производство с производством средств потребления. Причина этого отождествления заключается в том, что Гегель рассматривает лишь

иничный акт трудовой деятельности, в котором действительно кажется, что продукт есть овеществленная объективная цель, что сам процесс труда есть лишь овлечение индивидуальной потребности и что средства труда имеют всеобщее значение» [29. 128].

Приведенные упреки трудно признать убедительными. Во-первых, Гегель говорил, что орудие изготавливается и обрабатывается трудящимся субъектом. Следовательно, он понимал, что средства труда суть продукты производства. Во-вторых, нельзя ставить философа в вину, что он не проводил разграничение их подразделений общественного производства. Для того экономическая мысль его времени еще не поднялась, и первым, кто провел научно обоснованное разделение между средствами производства и предметами труда, был К. Маркс. В-третьих, Гегель отнюдь не рассматривал лишь единичный акт трудовой деятельности. В «Иенской реальной философии» система потребностей удовлетворяется в рамках атомизированного общества, когда каждый трудится для удовлетворения какой-то одной потребности, но, будучи включенным в общественную связь, удовлетворяет потребности многих. Гегель, таким образом, исходил из условий товарного производства, предполагающих общественное разделение труда и частную обособленность производителей.

Подняв орудие до всеобщности, философ в зародышевой форме уловил доминантное значение средств производства в организации хозяйственной жизни. Продукты труда могут оставаться в сфере единичного, но как средства производства являются по своей природе достоянием всего человечества, показывают величие его господства над природным миром, отражают уровень развития цивилизации. Орудие «стоит не как процесса труда, так и обрабатываемого

(для наслаждения, о чем здесь и идет речь) объекта, а также наслаждения, или цели...» [8. С. 290]. В этом пункте, развитом в «Науке логики» до классической формы, Гегель вплотную подошел к материалистическому пониманию истории. На это указывал В. И. Ленин, который, выписав в «Философских тетрадах» рассуждение Гегеля о том, что «в своих орудиях человек обладает властью над внешней природой, тогда как в своих целях он скорее подчинен ей», сделал следующее замечание: «Исторический материализм как одно из применений и развитий гениальных идей — зерен, в зародыше имеющих у Гегеля» [2. Т. 29. С. 171—172].

Представители классической буржуазной политэкономии хорошо понимали роль труда в процессе общественного воспроизводства. В XVII в. У. Петти бросил фразу, ставшую крылатой: «Труд есть отец богатства, а земля его мать». Эту традицию продолжил Смит, представив в своей работе разделение труда исходным пунктом формирования всего хозяйственного организма. В то же время они не видели существенного различия между трудом на различных этапах развития общества. Труд крепостного крестьянина, труд ремесленника, труд наемного рабочего рассматривались внеисторически. Иначе подходил к этому вопросу Рикардо, который брал труд в его развитой форме, порожденной условиями капитализма свободной конкуренции. Однако и Рикардо допустил ту ошибку, что абсолютизировал буржуазную форму общественного богатства, а следовательно, не видел исторического характера лежащего в основе богатства труда.

С основным сочинением Рикардо «Начала политической экономии и налогообложения», увидевшим свет в 1817 г., Гегель познакомился во время рабты над «Философией права» (1819—1820 гг.). В период интен-

живных занятий политической экономией, которые при-
ходились на 1799—1806 гг., в его распоряжении были
труды Стюарта, Смита и, возможно, физиократов. Бла-
годаря тонкому историческому чутью Гегель различал
труд, не выходящий за рамки натурального хозяйства, и
труд, производящий товары.

В «Системе нравственности» Гегель в туманной
форме лишь отдельными штрихами подходит к труду
как исторически меняющемуся феномену. Развитие
труда он увязывает с материальной культурой обще-
ства, со степенью его социальной зрелости. Мысль
Гегеля движется от собирательства и одомашнивания
животных до «тупости механического труда» в обще-
стве товаропроизводителей, где «труд, который на-
правлен на предмет как целое, распределяется в себе
самом и становится единичным видом труда; и этот
единичный вид труда именно через это становится
более механическим, поскольку вытекающее из него
многообразие, а следовательно, и он сам, становится
более всеобщим, более чуждым целостности» [8. С.
295—296]. Приведенный отрывок свидетельствует о
некотором понимании Гегелем присущего товарному
производству противоречия между частным и обще-
ственным трудом, а стало быть, и его исторического
характера.

В то же время Гегель пошел дальше Стюарта, ос-
тавшегося, как известно, на позициях меркантилизма
и отождествлявшего богатство с его денежной формой.
Не следует забывать, что философ был знаком с тру-
дом А. Смита, подвергнувшего теорию меркантилизма
резкой критике. Поэтому перед Стюартом Гегель имел
то преимущество, что исходил из более зрелой системы
теоретических взглядов. В силу этого философу уда-
лось как бы соединить достоинства разделяемого
Стюартом исторического взгляда на категорию труда
с преодолением его меркантилистских иллюзий. Опи-

раясь на смитовское учение, Гегель в трактовке труда поднимался в то же время на более высокую ступень и порывал с антиисторизмом.

В работах иенского периода труд недвусмысленно рассматривался в его исторически наиболее зрелой — буржуазной — форме. У Гегеля трудовая деятельность теснейшим образом увязывается с удовлетворением потребностей, формирующихся в рамках всеобщей разобщенности. Весьма примечательно, что в «Энциклопедии философских наук», вышедшей в 1817 г., система потребностей образует исходный пункт анализа «гражданского общества» [6. Т. 3. С. 342]. Но еще в «Системе нравственности» (1802—1803 гг.) Гегелем развивается триада: потребность — труд — наслаждение [8. С. 279]. При этом им проводится мысль, что потребность, возникающая у человека, побуждает последнего к труду. Конечным продуктом труда выступает потребление. Следовательно, Гегель ухватывает связь потребности и потребления, причем именно трудовая деятельность служит тем способом, который соединяет систему потребностей с потреблением в целостность.

В этом смысле он стоит выше Смита и других буржуазных экономистов, использовавших при раскрытии указанной взаимосвязи робинзонаду, т. е. предполагавших отдельного, изолированного «экономического» человека. Гегель же, напротив, с самого начала рассматривает процесс труда на уровне целостности. Именно поэтому у него нет абстрактного хозяйствующего субъекта, деятельностью которого управляют изначально положенные естественные законы. Этот субъект всегда конкретен, он включен в социум, и объективный характер экономических законов не складывается «по ту сторону» общественно-трудовой практики.

2.3. ОТ «НЕВИДИМОЙ РУКИ» К ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗАКОНАМ

Тайна исторического процесса, собственно, не в странах и народах, по крайней мере не исключительно в них самих... а в тех многообразных и изменчивых счастливых или неудачных сочетаниях внешних и внутренних условий развития, которые складываются в известных странах для того или другого народа на более или менее продолжительное время.

(В. О. Ключевский)

Философии Гегеля глубоко присущи рационализм и поэтически возвышенная убежденность в познаваемости мира. В «Науке логики» не без пафоса утверждалось, что «существующий мир сам есть царство законов...» [5. Т. 2. С. 139]. При этом Гегель исходил из того, что «закон находится не по ту сторону явления, а непосредственно наличен в нем, царство законов — это спокойное отображение существующего или являющегося мира» [5. Т. 2. С. 139]. Огромная заслуга философа заключалась в последовательном отстаивании применительно к социальной истории идеи объективности развития. Признание разума в истории, хотя и в мистифицирующей интерпретации абсолютного идеализма, несло в себе исключительно плодотворный тезис об исторической необходимости как спонтанной, из самой себя действующей силе.

В естественных науках идея объективного закона, как известно, пробила дорогу раньше, чем в науках об обществе, в которых господствовали либо субъективистские взгляды, сводящие движущие силы истории к сильным личностям и мнениям людей, либо провиденциалистские трактовки социального процесса, отводящие человеку роль винтика в механизме предустанов-

ленной гармонии. Вполне понятно, что материалистическое понимание истории не возникло случайно, вдруг, будто «выстрел из пистолета». Общественная мысль в лице Вико, Гердера, Канта, Гегеля и других мыслителей через гипотезы, ошибки и сомнения прокладывала дорогу к научному пониманию объективного начала в круговерти исторических событий.

Дж. Вико совершил подлинный переворот в исторической науке, обогатив ее новыми идеями, главной из которых была идея общесоциологического закона циклической эволюции. Его работа «Основания новой науки об общей природе наций» (1725 г.) явно опередила свое время. Выделив в истории цивилизации три фазы, Вико полагал, что переход от одной фазы к другой происходит уже с учетом пройденного пути. Между различными эпохами можно проводить определенные аналогии, поскольку они переживают молодость, зрелость и разрушение. Однако эти аналогии имеют условный характер, полной повторяемости хода вещей нет, развитие несет в себе результаты прошлого. Итальянский ученый очень близко подошел к диалектическому пониманию исторического процесса. Анализируя концепцию Вико, известный английский историк Р. Коллингвуд писал: «Именно потому, что история всегда создает нечто новое, циклический закон ее развития не позволяет нам предвидеть будущее. В этом отличие закона циклической эволюции Вико от старой греко-римской идеи строго циклического движения в истории...» [26. С. 66—67].

В то же время Вико не сумел преодолеть провиденциализма в трактовке исторических событий. Абстрактные схемы продолжали жестко определять фазы и ступени развития общества; не люди творили историю, а последняя определяла их поведение. В этом, конечно, заключался большой шаг вперед, поскольку историческая наука начинала освобождаться от субъ-

ективизма. Однако законы циклической эволюции рассматривались в отрыве от предметно-трудовой деятельности людей.

Между тем именно здесь лежал ключ к постижению внутренних причин и движущих сил исторического развития. Огромным достижением Гердера стала идея коллективной общественной практики. Именно она сыграла роль переходного мостика, позволившего вплотную подойти к действительно научному пониманию истории. «Весь жизненный путь человека, — писал Гердер, — это превращение, и все возрасты его — это рассказы о его превращениях, так что весь род человеческий выливается в одну непрекращающуюся метаморфозу» [17. С. 170]. О том, насколько глубоко эти идеи были усвоены Гегелем, свидетельствуют его работы франкфуртского, и особенно иенского, периода.

Центральным пунктом историко-философской концепции молодого Гегеля служит категория труда, позволившая уловить ему деятельностьную сущность человека как существа, которое делает выбор. «...Гегель рассматривает самопорождение человека как процесс... — подчеркивал К. Маркс, характеризуя «Феноменологию духа», — он... ухватывает сущность *труда* и понимает предметного человека, истинного, потому что действительного человека как результат его *собственного труда*» [1. Т. 42. С. 158—159]. Благодаря включению категории труда в структуру философского осмысления исторического процесса его цели переставали восприниматься в качестве внешних, навязываемых человеку предопределений. Законы общества оказывались суть законами общественно-трудовой практики, а следовательно, переставали быть абсолютными и приобретали исторически преходящий характер.

Весьма любопытно, что к идее объективности экономических законов с разных сторон шли все общест-

венные науки: и философия, и политическая экономия, и история. Если экономисты прокладывали путь к пониманию не зависящих от воли и сознания людей отношений, пользуясь в основном индуктивным методом, через обобщения эмпирических данных, то философы по преимуществу шли дедуктивным путем, не вдаваясь в детали экономического строя. Сказанное во всяком случае применимо при сравнительном анализе понимания экономических законов представителями классической буржуазной политэкономии и Гегелем.

В отличие от Смита и его последователей, которые детальным образом рассматривали категории капитала, прибыли, процента и ренты, у Гегеля по сути полностью отсутствует анализ специфически капиталистического содержания стоимостных категорий в системе «гражданского общества». Он не сумел исследовать корни экономической структуры капиталистических отношений, хотя это не означает, что он ограничивался лишь констатацией поверхностных форм хозяйственной жизни общества. В то время как лучшие умы буржуазной экономической науки шли от чувственно-конкретного к вычленению абстрактных определений, Гегель при рассмотрении «гражданского общества» двигался как бы обратным путем, не вдаваясь в детали и минуя абстрактные определения, к постижению его целостности, всего богатства идеализованного конкретного.

Благодаря именно этому Гегель при анализе «гражданского общества» нападает на след производственных отношений, но нападает во многом в интуитивной форме. У него нет ясного понимания внутренней связи уровня развития орудий труда и форм социального общения, нет вывода о существовании объективных, не зависящих от воли и сознания отдельных лиц материальных отношений. Впервые категорию произ-

водственных отношений в научный оборот ввел, как известно, К. Маркс. Но догадки Гегеля прямо-таки поразительны.

Согласно Гегелю, каждый индивид преследует свои цели, но в конечном счете продуктом деятельности людей оказывается такая общественная связь, которую каждый из них в отдельности не предполагал. «Как отдельное лицо, — подчеркивал он, — в своей единичной работе бессознательно уже выполняет некоторую общую работу, так выполняет оно и общую работу в свою очередь как свой сознательный предмет; целое становится как целое его произведением, для которого оно жертвует собой, и именно поэтому получает от него обратно самого себя» [3. Т. IV. С. 186]. Гегелем используются термины «мировой порядок», «мировой процесс», «субстанциальное целое», «общественная связь». Он говорит о «хитрости» мирового духа, творящего руками людей исторический процесс развития.

Общественную связь он трактует как общее достояние, как нечто, погруженное в стихию социальной всеобщности. «Своеобразие лиц ближайшим образом охватывает их потребности в них самих. Возможность их удовлетворения заложена здесь в общественной связи, представляющей собой то всеобщее достояние, откуда все получают удовлетворение» [6. Т. 3. С. 342—343]. Каждый индивид имеет субъективные намерения, которые сплетаются в общую ткань исторического процесса. Вступив в общественную связь, индивиды поднимаются из сферы единичного сознания и перестают руководствоваться индивидуальной волей. Над ними господствует всеобщая или чистая воля, которую можно осознавать или не осознавать, но которой нельзя пренебрегать. В «Феноменологии духа» Гегель писал: «... каждое единичное сознание поднимается из уделенной ему сферы, в этой обособленной

массе не находит более своей сущности и своего произведения, а понимает свою самость как понятие воли, все массы — как сущность этой воли и тем самым может претворить себя в действительность также лишь в труде, который есть совокупный труд» [З. Т. IV. С. 315]. Гегелевское учение о чистой воле содержит спекулятивную догадку о том, что в основе деятельности людей лежат общественные отношения, не зависящие от их воли и сознания.

В известной степени то, что философ называет «хитростью» мирового духа, можно назвать идеалистической парафразой смитовской «невидимой руки» или «естественного порядка» физиократической школы. Но именно только в известной степени. Методологические принципы классической буржуазной политической экономии характеризовались антиисторизмом и метафизичностью. Ее представители не видели в общественно-экономических отношениях самодвижения и саморазвития, а капитализм свободной конкуренции представляется им в качестве идеального типа хозяйственной жизни. Они верно ухватывали идею объективности экономических законов, но не преодолевали ее метафизическую интерпретацию. Для них экономические законы капитализма свободной конкуренции суть абсолютные законы, счастливо найденные к «вящей славе» рода человеческого.

В основу «Богатства народов» Смита был положен труд вообще, лишенный специфически исторической формы. Именно поэтому шотландский экономист мог прибегать к «робинзонаде», т. е. рассматривать процессы хозяйственной жизни с позиции абстрактного изолированного индивида. Этим методологическим приемом широко пользовались буржуазные экономисты, видя в нем средство для подчеркивания преимуществ естественного порядка (под которым подразумевалась капиталистическая форма производства) перед

якобы противоречащими природе экономических явлений феодальными институтами. Но решая одну задачу, они забывали другую — анализ общественного характера труда. «Производство обособленного одиночки вне общества, — писал К. Маркс, — редкое явление, которое, конечно, может произойти с цивилизованным человеком, случайно заброшенным в необитаемую местность и потенциально уже содержащим в себе общественные силы, — такая же бессмыслица, как развитие языка без *совместно* живущих и разговаривающих между собой индивидов» [1. Т. 46. Ч. I. С. 18].

Если же исходным пунктом политэкономического исследования признается изолированный субъект, деятельность которого не обусловлена общественно-трудовой практикой, а, наоборот, открывает собственно экономическую историю, то законы его хозяйственной деятельности нужно искать в особенностях человеческой природы. К этому, в частности, неизбежно должен был прийти Смит. Начав с такого общественного феномена, каким выступает разделение труда, он уже вторую главу «Богатства народов» открывает следующими словами: «Разделение труда, приводящее к таким выгодам, отнюдь не является результатом чьей-либо мудрости, предвидевшей и осознавшей то общее благосостояние, которое будет порождено им: оно представляет собою следствие — хотя очень медленно и постепенно развивающееся — определенной склонности человеческой природы... а именно склонности к торговле, к обмену одного предмета на другой» [37. С. 27].

Там, где Смит видел изолированного, отдельного человека, Гегель рассматривал агента производства как общественного индивида. Там, где Смит апеллировал к особым свойствам человеческой природы, Гегель шел противоположным путем и раскрывал самопорождение человека в контексте его общественно-трудовой

практики. Однако вряд ли обоснованно лишь противопоставлять Гегеля и Смита в трактовке понятия экономического закона.

Шотландский экономист был одним из первых, кто придал политэкономии черты научной системы. Перенеся центр исследования из сферы обращения в сферу производства, он тем самым проложил дорогу к пониманию внутренних законов частного предпринимательства. При всей непоследовательности А. Смита в раскрытии тайны капиталистического производства К. Маркс ставил ему в заслугу, что «он прослеживает внутреннюю связь экономических категорий, или скрытую структуру буржуазной экономической системы» [1. Т. 26. Ч. II. С. 177].

Смит, впрочем, редко употреблял термин «закон», предпочитая говорить о «естественной» цене, «естественной» норме прибыли, вообще о «естественном» порядке. Особо важную роль в его построениях играет упомянутая выше категория «невидимой руки», выражающая в концентрированном виде механизм совершенной, т. е. свободной, конкуренции. Каждый производитель заботится о собственной выгоде, но тем самым, писал Смит, «он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входила в его намерения; при этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения» [37. С. 332]. Вслед за этим автор «Богатства народов» выносит следующее оценочное суждение: «Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это» [37. С. 332].

Из приведенного отрывка видно, какое сильное влияние оказал Смит на разработку экономических вопросов молодым Гегелем, особенно в «Системе нравственности» и «Иенской реальной философии». Благодаря Смицу, описавшему в общих чертах систему

свободной конкуренции, философ сумел подняться выше опутанной феодальными порядками германской действительности. В то же время нельзя не видеть качественной разницы между ними в трактовке идеи экономического закона.

У Смита «невидимая рука» управляет ходом вещей, но она как бы вынесена за рамки процесса производства. «Невидимая рука» требует, диктует, а люди учитывают и сообразуют свою деятельность с ее предписаниями. Люди перестают быть творцами собственной истории, превращаясь в винтики социального механизма. Смысл в экономическую жизнь вносится некоей провиденциальной силой.

Иначе, пусть в идеалистической оболочке, у Гегеля. Экономические законы выступают у него постоянно воспроизводимым условием и одновременно результатом общественно-трудовой практики. В работах молодого Гегеля нет «китайской стены» между действием экономических законов и их использованием, они не привносятся в хозяйственную жизнь, а выводятся из нее. Мировой дух отнюдь не тождествен «невидимой руке», поскольку в ней нет предметного и деятельностного начала, нет момента саморазвития. Он не стоит над социальной средой, а вплетен в нее.

Молодой Гегель избегает абсолютизации принципа объективности экономических законов и не отождествляет их с законами природного мира. Как уже отмечалось, большим достижением классической буржуазной политэкономии было признание естественного начала в явлениях хозяйственной жизни. Это было равнозначно возведению политэкономии в ранг науки. Не произвол в конечном счете определяет течение экономических процессов, а законы, которые подобно законам природы не зависят от субъективной воли отдельных лиц. Вместе с тем допускалась ошибка «обесчеловечивания» экономических законов, последние представлялись

как автоматически действующие. В работе Кенэ «Китайский деспотизм» (1787 г.) основными общественными законами называются физические и моральные законы. «Эти основные законы, которые отнюдь не человеческого происхождения и которым должна быть подчинена всякая человеческая власть, — пишет Кенэ, — составляют естественное право людей, диктуют законы распределительной справедливости... и устанавливают государственный доход для удовлетворения всех издержек, необходимых для безопасности, хорошего порядка и благоденствия государства» [24. С. 502].

Такой подход к законам общественного развития органически вписывался в систему представлений эпохи Просвещения, противопоставляющей «естественный порядок» буржуазной эры искусственному порядку феодальных привилегий. При этом социальные законы не только уравнивались с законами физического мира, но объявлялись еще и неизменными, раз и навсегда данными, абсолютными. Во времена Смита и Кенэ этот подход был революционным по существу, поскольку выражал в теоретической форме бунт более высокой организации хозяйственной жизни против устоев отживающей эпохи. Однако в нем содержался и консервативный элемент, заключающийся в апологии буржуазного строя как абсолютного и отвечающего природе вещей.

Не избежал этой двойственности и Гегель, у которого прослеживаются две линии в понимании исторической закономерности развития. Молодой Гегель, особенно в работах иенского периода, опирается по преимуществу на диалектический метод; его система находится в процессе становления. Отсюда отсутствие какой-либо заданности исторического хода вещей, его саморазвитие и спонтанно-непрерывное обогащение. Но по мере формирования системы объективного идеа-

лизма последняя все больше толкает философа на ложный путь искусственного примирения идеи развития с той консервативной действительностью, которая стремится подавлять развитие идей. Интересы системосозидания приводят его к тому, что «абсолютная идея должна осуществиться в той сословной монархии, которую Фридрих-Вильгельм III так упорно и так безрезультатно обещал своим подданным, то есть, стало быть, в ограниченном и умеренном косвенном господстве имущих классов, приспособленном к тогдашним мелкобуржуазным отношениям Германии» [1. Т. 21. С. 277].

Именно зрелый Гегель формулирует вызвавший и продолжающий вызывать непримиримые споры тезис, согласно которому все разумное действительно, а все действительное — разумно. Какое бы значение — реакционное или революционное — ни придавалось этому афоризму, но реплика Гете все ставит на свои места: сущее не делится на разум без остатка! Сколь бы велик ни был соблазн подчинить действительный исторический процесс заранее определенному результату, каждая форма общества живет до тех пор, пока сохраняет способность к развитию.

Имеются достаточно веские основания полагать, что до конца жизни Гегель не забывал об этом. В последней своей работе «Английский билль о реформе 1831 г.» Гегель между прочим писал: «Для того, чтобы решительно изменить положение в Англии и уменьшить бремя ее государственного аппарата, необходимо было бы принять решения, посягающие на самую сущность структуры частных прав» [8. С. 382]. Философ обладал поразительной способностью ухватывать всеобщую связь социальных процессов и понимал, что, противясь реформам, политическая система грозит быть разрушенной революцией.

Консервативные элементы учения Гегеля не долж-

ны заслонять его основной заслугой в трактовке экономических законов, которая заключалась в преодолении искусственного разрыва их объективного характера и предметно-трудовой деятельности людей. Гегель равным образом выступал против как объективизма в понимании законов хозяйственной жизни, так и их «обесчеловечивания». И в этом смысле его подход сохраняет актуальность и по сей день, особенно для политической экономии социализма, мучительно пытающейся найти свое место в системе экономических наук. Увлечшись конструированием надуманных схем, она приносила хозяйственную практику с ее проблемами и запросами в жертву абстрактно-бездушному механизму действия и использования экономических законов. Но оторвав последние от действительности, политэкономия сделала себя пленницей догматических установок.

Одной из причин окостенения политэкономической мысли послужило отождествление законов хозяйственной жизни и физического мира. Это произошло в период, когда закончилось формирование административно-командной системы руководства обществом в нашей стране. Было нечто парадоксальное в том, что как раз тогда, когда, казалось бы, безраздельно утвердился произвол, началась активная борьба против субъективистских представлений о характере экономических законов. На самом же деле отрыв этих законов от трудовой деятельности людей органично вписывался в стереотипы жестко централизованной экономики. Лишив предприятия самостоятельности, у них отобрали и ответственность. Именно в этом заключался генезис представлений о том, будто экономические законы «требуют», а люди в своей деятельности лишь учитывают и сознательно используют их «требования». Вынесение экономических законов за рамки общественно-трудовой практики, конкретного опыта хозяйст-

вования с неизбежностью обрекало политическую экономию на талмудизм и начетничество, поскольку руководствовалась она примитивно понимаемыми книжными формулами, под которые, как под данный результат, подводились удобные факты.

Разумеется, экономические законы не есть продукт «творчества» отдельных лиц, их воли и ценностных установок. Они выражают сущностные моменты хозяйственной жизни общества в целом, которая складывается из действий всех участников воспроизводственного процесса. Благодаря именно этому образуется тот объективно существующий «параллелограмм сил», который служит не только готовой предпосылкой трудовой деятельности людей, но и ее постоянно возобновляющимся результатом. Каковыми бы ни были предпосылки хозяйственной деятельности, люди всегда ответственны за ее результаты. Вне этого единства предпосылок и результатов законы общественного производства превращаются в химеры. Только общественно-трудовая практика может быть исходным пунктом, обуславливающим специфическое содержание законов политической экономии. Не от законов к реальности, а от анализа всего богатства конкретно-исторической практики к выявлению устойчивых моментов и типичных свойств сложившейся системы производственных отношений — таков путь их научного познания.

3.1. РАЗДЕЛЯЛ ЛИ ГЕГЕЛЬ ТРУДОВУЮ ТЕОРИЮ СТОИМОСТИ?

Тот, кто о чем-то спрашивает, уже представляет себе в самом общем виде то, о чем он спрашивает, а иначе как бы он смог узнать правильность ответа, когда он будет найден.

(Платон)

Под таким названием в журнале «Вопросы философии» № 3 за 1959 г. была опубликована статья Э. Ю. Соловьева, выступившего с развернутой критикой взглядов Д. Лукача в оценке политико-экономических взглядов немецкого мыслителя. Автор статьи доказывал, что хозяйственные отношения рассматриваются Гегелем в рамках теории права. Отсюда следовало, что «гегелевский анализ „гражданского общества“ представляет собой идеалистически-ограниченную интерпретацию наиболее поверхностных связей существующей хозяйственной системы» [38. С. 117]. В соответствии с этим был сформулирован тезис, будто стоимость определялась Гегелем независимо от труда. Э. Ю. Соловьев по сути подвел его взгляды под теорию полезности, утверждая, что под стоимостью Гегель «понимает количественную соизмеримость потребительных стоимостей» [38. С. 119].

Автор статьи упрекал Гегеля в игнорировании товарной природы денег. Опираясь на отдельные высказывания из «Философии права», Э. Ю. Соловьев причислял мыслителя к приверженцам номинализма. Последнее прямо следовало из того, будто деньги для Гегеля — это общественно признанный знак стоимости. Более того, доказывалось, что воззрения мыслителя на деньги, мол, «воскрешают предрассудки протекционизма и монетарной системы» [38. С. 122]. Статья заканчивалась следующим общим выводом: «... если перевести гегелевское понимание хозяйственных отношений на собственный язык политэкономии, то обнаружится их несоответствие, а часто и противоречие с основными принципами трудовой теории стоимости» [38. С. 122].

С такого рода суждением трудно согласиться (особенно в отношении работ иенского периода — «Системы нравственности», «Иенской реальной философии» и «Феноменологии духа»), хотя экономическим взглядам Гегеля действительно сложно дать однозначную оценку. Позиция Лукача нам представляется более обоснованной. В отличие от Э. Ю. Соловьева он не подводит незрелые представления под развитые научные положения, добытые позднее. Заслуга Лукача заключается в том, что в его фундаментальной работе была прослежена и раскрыта взаимосвязь занятий Гегеля политической экономией с превращением диалектических догадок в догаданную диалектику. При этом Лукач не вырывает искания молодого Гегеля из контекста социально-политической и духовной жизни тогдашней Германии, не оценивает эволюцию его взглядов через призму априорной конструкции.

Не во всем с Лукачем можно вполне согласиться. Вряд ли правомерно, на наш взгляд, устанавливать прямую генетическую связь экономических воззрений Гегеля с учением А. Смита. «Гегель, — отмечается в

немецком оригинале книги Лукача, — является последователем (Anhänger) Адама Смита» [45. С. 412].

В русском переводе Anhänger дается как сторонник, что имеет несколько иную смысловую нюансировку. Сторонником какой-либо позиции можно быть, разделяя ее временно, в силу разного рода тактических соображений, т. е. не будучи ее последователем. У Лукача же ясно прослеживается мысль, что при формировании концепции труда, получившей развернутое выражение в «Феноменологии духа», на Гегеля определяющее влияние оказывали идеи именно Смита. Экономические взгляды молодого Гегеля — результат творческой переработки и усвоения смитовского понимания роли труда, а следовательно, и его трудовой теории стоимости.

Справедливости ради следует заметить, что Лукач никогда не огрублял связь политико-экономических воззрений Гегеля с идеями «Богатства народов». Называя Гегеля последователем Смита, Лукач в то же самое время подчеркивал: «Это вовсе не означает, что он при обсуждении всех проблем стоит на уровне Адама Смита: он не смог дойти до понимания сложной диалектики „эзотерических“ проблем политэкономии Смита, которые выявил Маркс в своих „Теориях прибавочной стоимости“. Противоречивость основополагающих категорий политической экономики, выявляемых Марксом, осталась для Гегеля непонятной» [28. С. 320]. В работе Лукача также отмечается, что в трактовке проблем экономической роли государства, прибавочного труда и прибавочной стоимости «Гегель постоянно склонялся скорее к Стюарту, чем к Смиту» [28. С. 213].

Таким образом, в марксистской литературе имеются прямо противоположные оценки взглядов Гегеля по вопросам стоимости, денег, эквивалентности обмена. И каждая из них не лишена определенных оснований. Ни в одной из работ Гегеля нельзя найти развернутого изложения и последовательной защиты ключевых прин-

ципов трудовой стоимости. К тому же уяснению его позиции мешает не просто идеалистическая манера изложения, а идеалистическое видение мира. Коренной порок политико-экономических воззрений Гегеля, уловившего «сущность труда», состоит, согласно Марксу, в том, что он «знает и признает только один вид труда, именно *абстрактно-духовный труд*» [1. Т. 42. С. 159].

Учитывая все это, объективно оценить и понять позицию Гегеля можно лишь при строгом соблюдении известных предпосылок.

Во-первых, важно избегать весьма распространенного приема критики, при котором робкие и во многом неверные начальные шаги научного знания без необходимых опосредований сопоставляются с его зрелыми результатами. Но такой путь аналогичен критике птоломеевой системы, когда учение Коперника стало хрестоматийным. Главная задача заключается не в демонстрации того, чего нет у Гегеля, а в раскрытии тайны гегелевского понимания внутренних процессов хозяйственной жизни с его прозорливыми догадками и иллюзиями, обусловленными конкретно-исторической практикой. К оценке экономического наследия Гегеля полностью применимы его собственные слова из «Науки логики»: «Истинное опровержение должно вникнуть в то, что составляет сильную сторону противника, и поставить себя в сферу действия этой силы: нападать же на него и одерживать над ним верх там, где его нет, не помогает делу» [5. Т. 3. С. 14].

Во-вторых, из работ Гегеля можно делать различные выводы относительно его позиций по ключевым вопросам теории стоимости по причине противоречивости, а подчас и путаности его представлений. Но эта противоречивость заключена не только и не столько в Гегеле, а в общем состоянии и уровне развития политической экономии того времени.

Достаточно обратиться к лучшим ее представителям. Например, у Смита, впервые придавшего трудовой теории стоимости черты научно разработанной концепции, можно найти несколько противоречащих друг другу определений стоимости. Выдающийся представитель классической буржуазной политической экономии Д. Рикардо, уже опираясь на плечи гигантов экономической мысли, не мог не поставить вопроса о двойственном характере труда, заключенного в товаре, и открыл тем самым дорогу развернутой критике трудовой теории стоимости [12. С. 80—89, 106—112, 116—122]. К тому же в начале XIX в. обозначилась тенденция к вульгаризации политической экономии, когда растущую популярность стал приобретать апологетико-описательный подход к анализу хозяйственных и социальных отношений. Вплоть до возникновения экономического учения К. Маркса трудовая теория стоимости характеризовалась причудливым переплетением глубоко научных и ошибочных положений.

В-третьих, подлинная позиция Гегеля в значительной степени вуалируется неустойчивостью терминологии, что отражало его философские искания, а также крайней абстрактностью суждений, выступающей результатом несоответствия передовых политико-экономических взглядов Гегеля отсталым хозяйственным отношениям тогдашней Германии. Для создателя идеалистической диалектики, исходившего из тезиса о тождестве бытия и мышления, важно было устранить такое несоответствие, пусть даже чисто формальным путем. Поэтому терминология Гегеля не должна вводить в заблуждение.

Изучение всей совокупности высказываний философа позволяет, на наш взгляд, отнести его к стихийным и непоследовательным приверженцам трудовой теории стоимости. Этот вывод основывается прежде всего на анализе проблемы труда в философии Гегеля. Но более полно его позиция проясняется при изложении вопросов стоимости и денег. Именно здесь проходит водораздел между сторонниками и противниками трудовой теории стоимости. Однако прежде имеет смысл рассмотреть гегелевскую интерпретацию абстрактного и конкретного труда.

3.2. АБСТРАКТНЫЙ И КОНКРЕТНЫЙ ТРУД

Большинство людей можно разделить на два класса: поверхностных мыслителей, не достигающих истины, и мыслителей отвлеченных, идущих дальше, чем требуется для ее достижения. Последние встречаются несравненно реже, и следует добавить, они гораздо более полезны и ценны, чем первые... То, что высказывают эти мыслители, по крайней мере не банально, и если требуется известное усилие, чтобы понять их, то труд читателя вознаграждается уже самой новизной их идей.

(Д. Юм)

«Камнем преткновения» для всей буржуазной политической экономии стал вопрос об историческом характере труда, создающего стоимость. Только отдельные ученые (Петти, Франклин, Стюарт) близко подошли к его пониманию, но так и не смогли преодолеть узкие границы метафизического мышления. В силу этого трудовая теория стоимости в том виде, в каком она отстаивалась лучшими представителями классической буржуазной политической экономии, зашла в тупик. Далеко не последнюю роль здесь сыграла обманчивая очевидность измерения стоимости затратами труда. Выдвинув этот тезис, приверженцы трудовой теории стоимости встали перед другой, гораздо более серьезной проблемой — проблемой объяснения того общего, что имеется в труде работников, занимающихся качественно разнообразной деятельностью.

Понимания этого пункта нет даже у проницательного Рикардо, который априори рассматривал труд в его самой развитой форме — в форме труда, создающего буржуазное богатство. «Если мы представим себе, — писал он, — состояние общества, в котором достигнуты большие успехи, в котором промышлен-

ность и торговля процветают, то мы по-прежнему найдем, что стоимость товаров изменяется согласно тому же принципу: определяя, например, меновую стоимость чулок, мы найдем, что их стоимость сравнительно с другими вещами зависит от всего количества труда, которое необходимо для изготовления их и доставки на рынок. Сюда войдет, во-первых, труд по обработке земли, на которой разводят хлопок; во-вторых, труд по доставке хлопка в страну, где будут изготовлены из него чулки, сюда же включается также часть труда, затраченного на постройку судна, на котором хлопок перевозится и который оплачивается в фрахте товаров; в-третьих, труд прядильщика и ткача; в-четвертых, часть труда машиностроителя, кузнеца и плотника, которые строили здания и машины, с помощью которых изготавливаются чулки; в-пятых, труд розничного торговца и многих других лиц, которых мы не будем перечислять» [32. Т. I. С. 43—44]. Приведенный отрывок замечателен в том отношении, что дает достаточное представление об аналитическом методе Рикардо, который, позволяя разложить овеществленный в товаре труд на составные части, оказывается бессильным разглядеть за этими конкретными видами труда абстрактно-всеобщий труд.

Весьма характерно, что Рикардо, защищая тезис о труде как субстанции стоимости, ни словом не обмолвился о его общественно необходимых затратах. Тем самым он давал основания для вульгаризации трудовой теории стоимости, ее подмены теорией спроса и предложения. Рикардо по сути развивал техническую версию понимания стоимости, исключая общественную потребность. В силу этого он попадал в «порочный круг» при попытке объяснить, чем регулируется стоимость товаров. В письме к Мальтусу от 9 октября 1820 г. Рикардо писал: «Вы говорите, что спрос и предложение регулируют стоимость. Сказать

так — значит, по моему мнению, ничего не сказать... именно предложение регулирует стоимость, — а предложение само контролируется относительной высотой издержек производства» [32. Т. V. С. 111]. С одной стороны, Рикардо измерял стоимость затратами труда, с другой — утверждал, что она регулируется издержками производства, которые в свою очередь определяются затратами труда. Правда, в начале этого же письма Рикардо обнаруживает намек на общественно необходимые затраты труда, когда говорит, что «цена регулируется конкуренцией производства» [32. Т. V. С. 109].

Доля истины в этом фетишизированном представлении состояла в интуитивном признании худших, средних и лучших условий производства, поскольку к этому неизбежно приводит конкуренция товаропроизводителей. Следовательно, не всякие затраты труда и не труд вообще лежат в основе стоимости. Однако такого вывода Рикардо и вся предшествующая ему политическая экономия как раз и не сделали. Главное, чего не хватает в теоретических построениях Рикардо, так это понимания специфически исторической общественной формы труда.

Ближе других к разгадке стоимости, как уже отмечалось, подошли Петти, Франклин и Стюарт. В работе «К критике политической экономии» К. Маркс отмечал, что Франклин «сформулировал основной закон современной политической экономии» [1. Т. 13. С. 42], связав стоимость с трудом вообще. Однако он, как и Стюарт, сознававший, что «характер труда, создающего меновую стоимость, является специфически буржуазным» [1. Т. 13. С. 45], не сумел подняться до раскрытия в конкретных видах труда присущего им всем свойства труда вообще.

К этому можно добавить, что гениальная догадка о субстанции стоимости была высказана Франклином в его юношеской

работе. В зрелые годы его больше занимали философско-экономические проблемы и просветительская деятельность. Когда Екатерина II назвала Радищева бунтовщиком хуже Пугачева, то добавила, что он читает Франклина. У нее были для этого веские основания. Франклин писал о рабстве как о жестоком унижении человеческой природы. «Несчастный человек, — говорил он, — с которым долго обращались как с животным, очень часто опускается и не имеет человеческого достоинства... Он привык двигаться как машина, по желанию хозяина; у него приостанавливается мышление; у него нет права выбора; причины и следствия имеют очень небольшое влияние на его поведение, потому что им преимущественно управляет чувство страха» [41. С. 412].

Как бы то ни было, но глубокие суждения о природе стоимости Франклин высказал «непроизвольно», вскользь и они не оказали воздействия на развитие современной ему экономической мысли. Можно сказать, что то же самое произошло с высказываниями Гегеля о характере труда в «гражданском обществе». Работы, в которых в основном содержатся мысли Гегеля о связи труда и стоимости, не были опубликованы при его жизни. Отрывки из «Системы нравственности» впервые увидели свет в 1893 г., а полностью рукопись была издана в 1913 г. Еще позже была опубликована «Иенская реальная философия» — в 1931 г. Чем же примечателен гегелевский анализ труда в «гражданском обществе»?

Определенная заслуга философа заключается в трактовке труда как труда двойного: именно двойного, а не двойственного. Гегель различает абстрактный и конкретный труд, терминологически предвосхитив тем самым Марксову постановку вопроса о двойственном характере труда, заключенного в товаре. Однако лишь терминологически.

Под абстрактным трудом Гегель понимает труд отдельного человека, включенного в систему общественного разделения труда. Это труд, направленный на выполнение отдельной операции или вида работ.

труд односторонний, делающий человека рабом общественной связи; труд, низводящий человека до придатка машины. «Так как трудятся лишь ради удовлетворения потребности как абстрактного для-себя-бытия, то и трудятся тоже лишь абстрактно» [4. Т. 1. С. 324]. Другими словами, человек, который трудится в системе рыночных отношений и создает предмет для удовлетворения единичной потребности, проявляет себя абстрактно. И в этом своем качестве его труд предстает как абстрактный. Таким образом, по Гегелю, абстрактный труд — это труд товаропроизводителя, создающего специфическую потребительную стоимость. Под этой категорией философ, стало быть, понимал то, что впоследствии Маркс отнес к характеристике конкретного труда.

Однако в гегелевской трактовке абстрактного труда заключен и другой, более глубокий смысл. Им формулируется тезис, что каждый индивид, работающий абстрактно, т. е. создающий единичную потребительную стоимость, тождествен другому такому же индивиду, включенному в орбиту разделения труда. Отсюда вытекает положение, согласно которому абстрактный труд — это также форма всеобщего труда, поскольку каждый человек затрачивает то, что и любой другой. В «Иенской реальной философии» Гегель писал: «В своем абстрактном труде он, индивид, созерцает всеобщность самого себя, своей формы, или созерцает свое бытие для другого» [4. Т. 1. С. 325].

У Гегеля сквозит смутная догадка о том, что в основе соизмеримости разнородных потребительских благ лежит какой-то «всеобщий труд», лишенный своей содержательной стороны. «Всеобщность труда, — отмечается в „Системе нравственности“, — или безразличие всех видов труда, полагается в качестве его среднего термина, с которым он сравнивается и в который может непосредственно превращаться вся-

кое единичное в качестве реального, денег...» [8. С. 340]. Нисколько не пытаясь проецировать Маркса на Гегеля, приведем определение абстрактного труда из «Капитала». Всякий труд, рассматриваемый, по словам К. Маркса, как «расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле, — и в этом своем качестве одинакового, или абстрактно человеческого, труд образует стоимость товаров» [1. Т. 23. С. 55].

Отсюда видно, насколько Гегель был ближе к научной постановке вопроса об абстрактном труде, чем представители классической буржуазной политической экономии. Но в то же время Гегель не видел внутренней связи между абстрактным трудом и стоимостью, разрывал абстрактный и конкретный труд, относя их к различным типам организации общественного производства. Между тем для диалектики товара характерно именно то, что «конкретный труд становится здесь формой проявления своей противоположности, абстрактно человеческого труда» [1. Т. 23. С. 68].

Под конкретным трудом Гегель понимает труд людей, которые создают первичный продукт, т. е. индивидов, сохраняющих живую связь с природой. По Гегелю, это труд, в котором человек сохраняет себя в качестве целостной личности и не становится бездушным винтиком системы потребностей, которая принуждает его к однообразному, механическому труду. Конкретным трудом он считает крестьянский труд, в то время как труд «городского сословия есть абстрактный труд отдельного ремесла...» [4. Т. 1. С. 367]. Поэтому конкретный труд — это труд, затрачиваемый на исторически более ранней ступени развития общества. «Конкретный труд, — продолжает Гегель, — является первоначальным, он есть субстанциальное сохранение, грубая основа целого, как и доверие» [4. Т. 1. С. 367].

Нетрудно заметить в гегелевской интерпретации

абстрактного и конкретного труда наличие гетерогенности анализа. Характеристика абстрактного труда дается им с позиции системы потребностей, под которой подразумевается строй товаропроизводителей. Развивая определение абстрактного труда, Гегель действительно встает на точку зрения современной ему политической экономии и рассматривает труд как категорию капиталистического товарного производства. Наряду с этим при анализе конкретного труда он исходит из условий докапиталистических отношений, раскрывая его сквозь призму натурально-хозяйственной организации общества.

Таким образом, как теоретический современник промышленного переворота и активного формирования экономической структуры буржуазного общества, и прежде всего в Англии, Гегель развивает концепцию абстрактного труда. Как немец он разделяет иллюзии, неясности своей эпохи, погружен в эмпирический материал тогдашней Германии, находившейся в путях феодально-сословных пережитков. Отсюда противопоставление конкретного труда труду абстрактному.

С известной долей условности можно провести параллель между Гегелем и физиократами. Кенэ и его последователи анализировали капиталистическое производство, но заключенное в феодальную оболочку. Их глубокие мысли были незрелыми, поскольку объект исследования не достиг еще классических формообразований, не проявил всех своих устойчивых характеристик и внутренних свойств. Нечто подобное и у Гегеля. С одной стороны, он развивает определение труда, присущего исключительно эпохе вставшего на собственные ноги товарного производства; с другой — включает в анализ характеристики, почерпнутые из более низкой организации хозяйственной жизни общества. Гегель непосредственным образом соединяет эти определения, которые противоречат друг другу.

3.3. СТОИМОСТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬГИ

Даже разговоры о любви не сделали столько людей дураками, сколько рассуждения о сущности денег.

(У. Гладстон)

Понять реальный смысл высказываний Гегеля о стоимости и деньгах можно лишь в контексте его представлений о характере хозяйственной жизни в «гражданском», т. е. буржуазном, обществе. Удовлетворение потребностей каждым индивидом в этом обществе возможно лишь благодаря удовлетворению потребностей других людей. Каждый должен работать на других, чтобы удовлетворить свой интерес. В результате складывается система всесторонней зависимости, которая реализует тем самым и общий интерес. Поэтому вступить в общественную связь индивиды могут только через рынок, где осуществляется приравнение овеществленных в продуктах различных видов труда. Общественное отношение оказывается, таким образом, стоимостным, прикрытым вещной оболочкой. Всесторонняя зависимость, о которой говорит Гегель, выступает как вещная зависимость.

К анализу категории стоимости Гегель подходит как бы с двух сторон; он видит в ней нечто объективное, выходящее за рамки единичного, и в то же время это отношение двух лиц, участвующих в обмене и признающих друг в друге собственников. Гегелем допускалась известная персонификация стоимостного отношения. В «Иенской реальной философии» при характеристике договора он писал, что «стоимость есть мое мнение о вещи» [4. Т. 1. С. 328]. К тому же в работах Гегеля смешиваются экономическое содержание стоимости и юридическая форма ее выражения. В частности, в «Системе нравственности» утверждается следующее: «В результате снятия индивидуаль-

ного отношения остается α -право, β -право, являющееся в определенных вещах в форме равенства, или стоимости...» [8. С. 300]. Из приведенных высказываний можно сделать вывод о смещении Гегелем экономической природы стоимости с правовой формой выражения стоимостного отношения. Но было бы ошибочно, на наш взгляд, делать слишком поспешные заключения.

Противоречия Гегеля в вопросе о природе стоимости служат не только доказательством незрелости или ошибочности его суждений, но и удивительного исторического чутья. Благодаря диалектическому методу философ по существу развивал в неявной форме мысль об историческом содержании стоимости. Этим его позиция выгодно отличается от метафизической и антиисторической трактовки стоимости в трудах Смита и Рикардо. Известно, например, что Смит усматривал склонность к обмену в особенностях человеческой природы [37. С. 27].

Для Гегеля стоимость суть результат превращения конкретного труда в абстрактный, т. е. вытеснения натурального хозяйства системой рыночных отношений. По его терминологии, товаропроизводитель лишен «конкретного труда, а его сила состоит в анализировании, в абстракции, в разложении конкретного на многие абстрактные моменты» [4. Т. 1. С. 325]. Сообразно этому стоимость выступает «абстракцией» равенства одной вещи с другой [8. С. 299]. Гегель понимал, что напасть на след этого равенства можно лишь в сфере обмена. «Только потому, — писал он, — что другой сбывает вещь, я делаю то же самое; и это равенство в вещи как ее внутреннее есть ее стоимость...» [5. Т. 1. С. 326].

Когда в «Иенской реальной философии» утверждается, что стоимость есть «мое мнение о вещи», то это не просто субъективистское понимание стоимости, а в

смутной форме выраженная догадка о фетишизации отношений между субъектами «системы потребностей». В сфере обмена каждый стремится к личной выгоде, получить которую можно лишь путем приравнивания продукта своего труда к другой вещи. Товаровладелец вкладывает волю в принадлежащую ему вещь и может распоряжаться ею по своему усмотрению. Однако его воля, как и воля других товаровладельцев, не определяет пропорций обмена, которые складываются за их спинами. «Собственность, — писал Гегель, — выступает в реальности через множество состоящих в обмене лиц как взаимно признающих друг друга; стоимость выступает в реальности вещей» [8. С. 300]. Этим самым он подошел к мысли, которую много позднее в научной форме последовательно выразил К. Маркс, а именно к мысли о необходимости разграничения экономического содержания товарно-денежных отношений и их правовой интерпретации.

К. Маркс, характеризуя процесс обмена товаров, писал в «Капитале»: «Чтобы данные вещи могли относиться друг к другу как товары, товаровладельцы должны относиться друг к другу как лица, воля которых распоряжается этими вещами: таким образом, один товаровладелец лишь по воле другого, следовательно каждый из них лишь при посредстве одного общего им обоим волевого акта, может присвоить себе чужой товар, отчуждая свой собственный» [1. Т. 23. С. 94]. Из этого, конечно, не следует, будто К. Маркс разделял юридическую иллюзию. Когда он говорил, что вещи превращаются в товары по воле владельцев, тем самым стоимостное отношение не ставится в зависимость от правовой формы. Необходимость обмена вытекает из общественного разделения труда и хозяйственной обособленности производителей. Будучи обособленными, они могут удовлетворить

свои экономические интересы лишь через акты купли-продажи, которые принимают форму договора.

Лукач был совершенно прав, когда подчеркивал методологическую необходимость для Гегеля рассматривать экономические явления в их правовом преломлении [28. С. 427]. Гегель действительно допускал ту ошибку, что ставил право выше экономики. Если материалистическое понимание истории исходит из примата производства в широком смысле слова и производного характера правовых отношений, то в гегелевской системе идеалистической диалектики все обстоит наоборот: чем дальше дух в своем поступательном движении отрывается от бездушного материального мира, а следовательно, чем более идеологизированные и фетишизированные формы он принимает, тем полнее его самореализация. Однако тем самым нисколько не отрицается глубина гегелевского проникновения в природу стоимости.

Особого внимания заслуживает вопрос о трактовке Гегелем проблемы субстанции стоимости. Анализ его работ показывает недостаточность того взгляда, будто Гегель определял стоимость независимо от труда [38. С. 119]. В «Системе нравственности» он писал: «Поскольку труд точно так же становится всеобщим, то в силу того, что он направлен на целокупность потребности лишь согласно понятию, а не по своей теории, всеобщая зависимость полагается в результате удовлетворения физической потребности. Стоимость и цена труда и продукта определяются в соответствии со всеобщей системой всех потребностей, и произвол в установлении стоимости, который основывается на особой нужде другого, а также неизвестность относительно того, необходим ли избыток другому, снимается полностью» [8. С. 340]. Приведенная выдержка примечательна в нескольких отношениях.

Во-первых, гегелевское представление об объектив-

ной основе стоимости не связано однозначно с затратами труда и может быть истолковано как общественно необходимая оценка полезности благ. Тем самым им допускалось определенное смещение стоимости и потребительной стоимости. Вместе с тем у Гегеля речь идет все-таки о потребительной стоимости не отдельного товара, а всей товарной массы. Субъективность в оценке полезности блага, которая может проявиться в отдельном акте купли-продажи, погашается, когда речь заходит о совокупном труде всего общества, затраченном на изготовление общественной потребительной стоимости всей массы продуктов. Кстати, ни сколько не пытаюсь интерпретировать Гегеля в терминах научной экономической теории, уместно привести следующее суждение Маркса: «Закон стоимости в действительности проявляется не по отношению к отдельным товарам или предметам, но каждый раз по отношению ко всей совокупности продуктов отдельных обособившихся благодаря разделению труда общественных сфер производства... Общественная потребность, то есть потребительная стоимость в общественном масштабе, — вот что определяет здесь долю всего общественного рабочего времени, которая приходится на различные особые сферы производства» [1. Т. 25. Ч. II. С. 185—186].

Во-вторых, Гегель верно улавливал, что в рыночном хозяйстве действует какая-то внешняя по отношению к производителям сила, которая диктует стоимость и цену всех продуктов. Гегель, следовательно, нападает на след закона стоимости, хотя и не ставит его анализ на подлинно научный уровень.

Важным элементом трудовой теории стоимости выступает вопрос о развитии внутренних противоречий товара. Величайшей теоретической заслугой К. Маркса стало исследование формы стоимости, благодаря которому удалось научно обосновать исторический

характер стоимости, показать товарную природу денег и открыть тайну товарного фетишизма. В этом пункте Гегель разделял иллюзии современных ему экономистов, отождествляющих стоимость и меновую стоимость. В «Философии права» он сводит стоимость к количественной соизмеримости потребительных стоимостей [3. Т. VII. С. 87]. Однако в работах иенского периода Гегель сумел в известном смысле подняться выше Смита и других представителей трудовой теории стоимости. В «Системе нравственности» высказывается удивительная по своей глубине и новизне мысль о том, что «сама стоимость есть равенство как абстракция, идеальная мера; находямая же в действительности, эмпирическая мера — цена» [8. С. 300].

Конечно же, Гегель заблуждается, усматривая в стоимости всего лишь абстракцию, идеальную меру. Но интересной следует признать попытку видеть в цене форму выражения стоимости. Нелишне заметить, что даже классическая буржуазная политическая экономия строила свои рассуждения вокруг «естественной» и рыночной цены, что отвечало менее зрелой с методологической точки зрения ступени анализа формы стоимости. Под «естественной» ценой сторонники трудовой теории стоимости понимали тот центр, вокруг которого колеблются рыночные цены, т. е. по сути они понимали под ней стоимость. Но у Гегеля проблема стоимости ставится несколько иначе. Это не просто центр колебания рыночных цен, а нечто внутреннее, скрытое под вещной оболочкой, недоступное для непосредственного созерцания; напасть на след стоимости можно лишь через цену, представляющую собой «эмпирическую меру».

В вопросах теории цены, как и в других разделах политической экономии, научные элементы в суждениях Гегеля проявляются тем полнее, чем выше их мозрительность. Когда же его взгляды соприкасаются

с германской действительностью, он делает шаг назад по сравнению с классической буржуазной политэкономией. В частности, в иенский период Гегель высказал мысль о необходимости принятия специального закона против ростовщичества. Особую роль он при этом возлагал на государство, которое «должно знать, много или мало денег находится в обращении» [4. Т. 2. С. 550]. Гегель исходил из того, что с «деньгами дело обстоит так же, как с ценами на зерно, которые колеблются в зависимости от слухов о войне и мире, от града и т. д.» [4. Т. 2. С. 550]. Именно неуверенность относительно количества денег в обращении приводит, по его мнению, к повышению ростовщического процента. Поэтому философ высказывается в пользу государственного регулирования денежного обращения и цен на важнейшие продукты питания. Эти замечания показывают, что Гегель, будучи идеологом нарождающейся немецкой буржуазии, находился в плену торгового протекционизма и не в полной мере доверял свободной игре рыночных сил.

Несмотря на груз протекционистских представлений, Гегель сформулировал ряд поразительных по глубине положений о природе денег. В отличие от Смита и Рикардо, посвятивших науке о деньгах сотни страниц, немецкий философ чрезвычайно скуп на слова в этом весьма притягательном разделе политической экономии. Но даже в немногих фрагментах Гегель показывает, что в определенном отношении он стоит выше современной ему экономической мысли.

Для Смита и его последователей в целом было характерно принижение роли денег в системе капиталистического производства. В «Богатстве народов» содержатся высказывания, которые прямо говорят об этом. «Золотые и серебряные деньги, находящиеся в обращении страны, — пишет А. Смит, — можно с

полным правом сравнить с шоссейной дорогой, которая, содействуя передвижению и доставке на рынок всего сена и хлеба страны, сама по себе не производит ни снопа или вязанки» [37. С. 237]. Акцент на посреднической миссии денег во многом связан с ошибочным отождествлением их с обычным товаром. У Смита отсутствует ясное теоретическое представление о том, что товар, ставший в силу стихийного общественного действия носителем денежных функций, превращается в товар особого рода [1. Т. 13. С. 55]. Он смешивает понятие денег с их функциями. К. Маркс писал, что «... различие между „сиггенсу“ и „мопсу“, т. е. между средством обращения и деньгами, не отмечается в „Богатстве народов“» [1. Т. 13. С. 149. Прим.].

Даже Рикардо, начавший свою научную деятельность с вопросов денежного обращения, в своем главном труде «Начала политической экономии и налогового обложения» не делает деньги объектом самостоятельного рассмотрения, не устанавливает внутренней связи между товаром, стоимостью и деньгами, не выделяет их из мира товарных тел.

Мощный аналитический ум Гегеля позволил ему увидеть отношения субординации между товарами и деньгами. И в этом, пожалуй, его решающее преимущество перед Смитом и Рикардо. Имеются все основания утверждать, что философ интуитивно подошел к постановке вопроса о происхождении денег из товара. Говоря о «гражданском обществе» как о системе потребностей, Гегель в «Иенской реальной философии» приходит к следующему выводу: «Эта разнообразная работа потребностей как вещей должна осуществить свое понятие, как абстракцию; ее всеобщим понятием должна быть вещь, какой является и она сама, но вещь, которая представляет всеобщее. Деньги являются этим материальным, существующим по-

нятием, формой единства или возможностей всех вещей, связанных с потребностями» [28. С. 371]. В этом удивительном по глубине мысли фрагменте спекулятивным образом улавливается процесс стихийного выделения денег в качестве самостоятельного бытия присущего всем вещам свойства. Гегель называет деньги «формой единства или возможности всех вещей», что вплотную подводит его к понятию всеобщего эквивалента.

В «Философской пропедевтике» (1808—1811 гг.) намечается дальнейшая конкретизация его представлений о природе денег. Они уже прямо определяются как всеобщий товар. Вот что он писал: «Деньги — это всеобщий товар, который как абстрактная стоимость не может, следовательно, сам быть употреблен для удовлетворения какой-либо особенной потребности. Они лишь всеобщее средство для приобретения за них тех особенных вещей, в которых нуждаешься. Употребление денег только косвенное» [4. Т. 2. С. 44]. Гегель ясно видел, что деньги играют совершенно особую роль в обществе, в котором все производится для обмена. Он исходил из их товарной природы, но указывал, что деньги не могут быть использованы в качестве обычного товара. Деньги всегда появляются на полюсе, противоположном миру товарных тел; они — всеобщий товар. Таким образом, Гегель преодолел редукционизм современной ему политэкономии, сводящей деньги к обычным товарам.

Одновременно он смутно улавливал внутреннюю диалектику денежной формы. Воля владельцев товаров только тогда получает общественное признание, когда осуществляется метаморфоз товаров в деньги. Из общественной роли денег, обеспечивающих связь вещей как товаров и определяющих социальный статус товаровладельцев, вытекает их власть над людьми. Деньги, таким образом, вырастая из товарного мира,

превращаются в господствующую отчужденную форму. «Потребность и труд, возведенные в эту всеобщность, — писал Гегель, понимая под последней деньги, — образуют у большого по численности народа чудовищную систему общности и взаимной зависимости, которая изнутри сама по себе движет жизнью мертвых вещей, жизнью, мечущейся в своем движении слепо и стихийно и туда и сюда и, подобно дикому зверю, нуждающемуся в постоянном и строгом укротителе и обуздывании» [28. С. 371]. Из приведенного отрывка видно, что Гегель был на пути к пониманию тайны товарного фетишизма. Магическая власть денег связывается им с «системой общности и взаимной зависимости», т.е. с условиями товарного обмена. Тем самым улавливается объективная сторона товарного фетишизма, состоящая, как известно, в овеществлении производственных отношений.

В то же время Гегель пытался освободиться от субъективной стороны товарного фетишизма, отстаивая тезис о необходимости постоянного и строгого обуздывания рыночных сил, игра которых приводит к культу вещей как товаров, а следовательно, и денег. В этом специфическом образом проявляется двойственность умонастроения философа. Благоговевая перед разумом в истории и объявляя все действительное разумным, Гегель осознал объективность денежных отношений. Тем самым он принимал реалии буржуазной эпохи, которая в его времена видела свой символ веры в свободной конкуренции и фритредерстве. Но принимая их, он становился на точку зрения английской политической экономии. Оставаясь наряду с этим в плену германской действительности, Гегель призывал к государственному порядку в вопросах денежного обращения. Он говорил о контроле за «чудовищной системой общности и взаимной зависимости», как будто можно декретировать низвержение или ог-

раничение власти денег, если сохраняются объективные социально-экономические условия для действия законов свободной конкуренции.

Суждения Гегеля о сущности денег можно смело отнести к вершинам домарксово́й политической экономики. В них неразрывно соединились диалектический метод, рассматривающий все явления в их самодвижении, и присущее немецкому мыслителю умение схватывать социальные процессы в контексте общественно-трудовой практики. Правда, Гегель не сумел нащупать генезиса денег. Разделяя теорию соглашения, берущую свое начало от Аристотеля, он полагал, что генезис денег проистекает из договоренности между людьми. В то же время справедливости ради следует подчеркнуть, что Гегель выводит деньги не из природы вещей, а из социальных отношений, поскольку «никакая материя ... сама по себе не есть деньги» [4. Т. 2. С. 44].

Гегель близко подошел к правильному пониманию добавочной потребительной стоимости денег, которая заключается в их свойстве непосредственно обмениваться на любой товар. Специфическую ценность денег он видит в их способности представлять от лица всех потребностей. Однако при этом он не проводил четкой разницы между полноценными деньгами и знаками стоимости. По его мнению, отмеченной выше «специфической ценностью» обладают кредитные деньги и государственные казначейские билеты [3. Т. VII. С. 88]. Применительно к условиям металлического стандарта в этом заключалась существенная уступка номинализму. Но даже в этой ошибке Гегелем превратным образом схвачен объективно протекавший процесс перехода от металлического к бумажно-денежному обращению.

Глава 4

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СИСТЕМЕ ГЕГЕЛЯ

4.1. «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Общество имеет двух врагов, которых оно в равной степени боится и ненавидит: анархию и деспотизм.

(Сен-Симон)

Молодой Гегель писал в 1795 г. Шеллингу: «Нашим лозунгом да останутся разум и свобода, основой же нашего объединения — незримая церковь» [4. Т. 2. С. 220]. Приверженность величию разума и понятию свободы Гегель пронес через всю жизнь. Но если в молодости свобода ассоциировалась у него с бунтарством, то в зрелые годы она соединяется с исторической необходимостью и правопорядком. Считая свободу высшей ценностью, философ понимал, что энергией революционного взрыва можно добиться свободы на час, которая, не имея социальных гарантий и правовой основы, породит новую диктатуру. Чтобы удержать свободу, ее необходимо институционализировать, сделать органическим элементом социально-политического механизма. Будучи дальновидным политическим мыслителем, Гегель давал себе отчет в том, что, как бы ни было трудно завоевать свободу, много труднее ее удержать.

Тот факт, что в молодые годы философ смотрел на идею свободы глазами романтика, а в зрелые — глазами реалиста, породил легенду о двух Гегелях. Вскоре после его смерти появилась точка зрения, согласно которой зрелый Гегель изменил идеалам молодости. В середине XIX в. немецкий историк философии Р. Гайм [16] подверг политическое учение Гегеля критике с либеральных позиций. Сделав акцент на анализе психологического мира Гегеля, он доказывал закономерность перерождения его радикализма молодости в консерватизм. На протяжении всего XX в. эту легенду поддерживали как сторонники истеблишмента, так и представители леворадикальных течений, как приверженцы тоталитарных структур, так и защитники демократических институтов власти. При всем многообразии подходов общим был вывод, противопоставляющий позднего Гегеля раннему, соответственно просвещенного консерватора пылкому реформатору. В частности, Г. Маркузе писал, что в берлинский период (1818—1831 гг.) Гегель «стал так называемым официальным философом прусского государства и философским диктатором Германии» [46. Р. 169].

Прежде чем дать оценку обоснованности столь категорического суждения, хотелось бы кратко остановиться на некоторых чертах личности Гегеля, проявившихся в последний период его жизни. Сделать это надо потому, что существует связь, пусть не прямая, но достаточно устойчивая между особенностями натуры и жизненными убеждениями человека.

Вскоре после переезда Гегеля в Берлин началась волна репрессий, вызванных убийством Коцебу — литератора и политического деятеля. Убийцей оказался Карл Занд — руководитель возникшей в 1817 г. в студенческой среде организации под названием «Буршеншафт». Политические взгляды членов этого сою-

за — буршей — были весьма разношерстными, но их объединял экстремизм на националистической основе. Причиной убийства послужили выступления Коцебу против буршей. Зрелый Гегель отрицательно относился к насильственным действиям. Однако он и не поддержал действий правительства против членов «Буршеншафта». Среди задержанных полицией были его ученики, которым Гегель, несмотря на угрозу потерять репутацию, старался как-то помочь. В частности, он вступился за арестованного студента Асверуса, горячего поклонника гегелевской философии и не менее фанатичного члена «Буршеншафта». Гегель взял его на поруки под залог в 500 таллеров. В другой раз Гегель вступился за французского философа Кузена, когда тот был арестован в 1824 г. в Дрездене по обвинению в связях с немецкими бунтовщиками. Обращение к министерству внутренних дел Пруссии в защиту арестованного по политическим мотивам было актом несомненного гражданского мужества [18. С. 131—132, 237—238].

Гегель мог быть очень разным. Как и все люди, ведущие напряженную умственную работу, он чувствительно относился к разного рода мелким наскокам и интригам. Порой его отличали сварливость и обидчивость. Бывали моменты, когда в нем обнаруживались деспотические замашки. Однако Гегель обладал и другими качествами, особо ценившимися друзьями и близкими. Вот что вспоминал один из учеников философа: «Он всегда готов был принять участие в увеселительных прогулках, — с годами полное отдохновение, по-видимому, даже становилось ему все нужнее. Кто узнал бы тогда в нем глубочайший дух его времени? Всегда разговорчивый, он всячески избегал научных предметов; он слушал с удовольствием городские толки и сплетни... Гуляя с ним, не много можно было пройти, потому что он ежеминутно

останавливался, разговаривал, жестикулировал, или от души и громко хохотал... Он был также приятным товарищем в концертах и в театре, оживленный, расположенный аплодировать, всегда готовый болтать и шутить, когда нужно, довольствуясь банальностями хорошего общества. Особенно легко удовлетворяли Гегеля его любимые певцы, актрисы и поэты ... Он очень любил общество дам; и там, где он был с ними хорошо знаком, прекраснейшая могла быть уверена в его особенном почитании, вполне безопасном, разумеется, в его лета, но сохранившем в себе свежесть молодости. Полное уединение, в котором он провел ранние годы, заставляло его еще более ценить то, что в поздние годы он жил в обществе; и как будто от того, что его собственная глубина искала восполнения в тривиальности и пошлости других, он часто находил удовольствие в обществе людей самого ординарного склада и даже относился к ним с особенным веселым добродушием» [27. С. 114—116].

Гегель никогда не был «официальным философом прусского государства», но он жил в условиях этой государственной машины. И если в молодые годы философ стремился подвести действительность под утопическую идею возрождения греческих полисов, то в зрелом возрасте он должен был как-то согласовать идею с действительностью. Двух Гегелей, а соответственно и противоречия между ними, на наш взгляд, не было. Поздний Гегель — это все тот же молодой Гегель, но вставший на почву реальности. Радикализм молодого Гегеля имел антифеодалную направленность. Но будучи критичным, этот радикализм имел характер социальной утопии и был обращен к прошлому. Консерватизм Гегеля в берлинский период жизни имел отнюдь не охранительное, а созидательное начало. Он был конструктивным, поскольку заключал в себе ясно выраженную буржуазную направленность.

Вне зависимости от личных установок позднего Гегеля его мировоззрение имело прогрессивный характер, поскольку исходным пунктом имело идею буржуазных свобод, особенно в области хозяйственных отношений. В «Философии права» Гегель сделал крупный шаг в разработке вопроса о соотношении экономики и других сфер жизни общества. С особой силой «огромное историческое чутье», которое, по словам Ф. Энгельса, лежало в основе философской системы Гегеля, проявилось в концепции «гражданского общества».

Анализ этого общества он основывает на двух фундаментальных принципах капиталистического производства: 1) индивиды руководствуются только своими частными интересами; 2) между ними образуется общественная связь, при которой каждый зависит от каждого. Заметим, что в немецком языке термин «гражданское общество» (*bürgerliche Gesellschaft*) имеет двойной смысл. *Bürger* — это и гражданин, и буржуа. При этом важно подчеркнуть, что Гегель не смешивал «гражданское общество» и государство. Согласно его точке зрения, государство возникло раньше «гражданского общества». Отсюда вытекает вполне правомерный вывод, что под «гражданским обществом» Гегель по существу понимал экономическую структуру буржуазных общественных отношений.

Более того, рассматривая систему потребностей как строй атомизированных производителей, он пытался воссоздать понятийный аналог капитализма свободной конкуренции. Отношения между людьми в нем складываются вне зависимости от юридических постановлений, которые люди принимают. «Законы, — пишет Гегель, — могут образовываться лишь после того, как люди осознали для себя многообразие потребности и приобретение этих потребностей переплелось с удовлетворением» [З. Т. VII. С. 230]. У Гегеля нет последовательного разграничения экономических и правовых

отношений, но, различая государство и «гражданское общество», он сделал заметный шаг в этом направлении. В предисловии «К критике политической экономии» К. Маркс писал, что правовые отношения и формы государства «коренятся в материальных жизненных отношениях, совокупность которых Гегель, по примеру английских и французских писателей XVIII в., называл "гражданским обществом"» [1. Т. 13. С. 6]. Вместе с тем Гегель не остался до конца последовательным, давая «гражданскому обществу» в целом ряде случаев правовую интерпретацию. В частности, он рассматривает полицию и судопроизводство в учении о «гражданском обществе», тогда как по логике вещей их следовало бы анализировать в учении о государстве.

Здесь важно не упускать из виду, что «гражданское общество», по Гегелю, — это атомистическое частнособственническое общество, представляющее собой систему рыночных отношений, в которой слепая необходимость прокладывает дорогу через анархию и конкуренцию. Поэтому, рассматривая полицию и судопроизводство в разделе о «гражданском обществе», Гегель, на наш взгляд, подчеркивал то, что атомистические отношения нуждаются в постоянной поддержке, а правовые нормы являются их готовыми предпосылками. В иенский период он был склонен видеть скорее преимущества игры рыночных сил перед мелочной регламентацией хозяйственной жизни. Отстаивая в «Иенской реальной философии» свободу промысла, Гегель писал: «Вмешательство должно быть по возможности менее явным, ибо это сфера произвола; следует избегать видимости насилия и не стремиться спасти то, что нельзя спасти, а необходимо найти страдающим классам другое занятие» [4. Т. 1. С. 334]. Однако в берлинский период Гегель уже говорит о необходимости государственного регулирования коммерческих отно-

шений, хотя и в известных пределах. Объясняется это, на наш взгляд, двоякого рода факторами.

Во-первых, в берлинский период философ выражал уже на официальном уровне интересы нарождавшейся немецкой буржуазии, которая нуждалась в помощи государства для укрепления своих позиций внутри страны и на международных рынках. В то время как английская буржуазия отстаивала фритредерство, германский капитализм явно тяготел к промышленному и торговому протекционизму. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов опасения Гегеля за судьбы «гражданского общества», в котором без государственного вмешательства может возобладать тенденция к саморазрушению. Он ясно видел, к каким губительным последствиям ведет углубление разделения труда в условиях буржуазного общественного строя. «При чрезмерном богатстве гражданское общество, — отмечается в „Философии права“, — недостаточно богато, чтобы бороться с чрезмерностью бедности и возникновением черни» [З. Т. VII. С. 255].

Гегель был близок к мысли о том, что государственный контроль необходим в интересах сохранения жизненных устоев свободного предпринимательства. Однако его экономический идеал — отнюдь не детальная регламентация хозяйственной жизни и не строго централизованное замкнутое натуральное производство. В «Философии права» (§ 236) строгий государственный контроль связывается с примитивным состоянием общества. Несмотря на груз феодально-сословных представлений, философ видел в капиталистическом товарном производстве более высокую ступень исторического развития, не пытаясь ее идеализировать. Именно поэтому он сторонник регулируемых товарных отношений.

Как уже отмечалось, эллинизм молодого Гегеля перерос с годами в идею «гражданского общества».

По справедливому утверждению Лукача, «Гегель — первый мыслитель в Германии, который признает наличие собственных закономерностей экономической жизни, и хотя он питает иллюзии относительно того, что деятельность государства может смягчить и регулировать социальные противоречия, возникающие из экономики, все же он никогда не представляет эту функцию государства в виде абстрактного регламентирования, насильственного вмешательства в экономическую жизнь, снятия экономических законов капитализма с помощью декретирования, как это весьма рельефно выступает в утопических требованиях Фихте» [28. С. 458]. Тем не менее Гегель столкнулся с неразрешимой для социально-экономических условий Германии того времени проблемой разрыва между должным и сущим.

Идею экономической свободы он выводил не из утопических проектов, а из фактов реальной жизни. Однако факты эти имелись налицо в Англии. Для Германии капитализм свободной конкуренции — это скорее должное. Как такового «гражданского общества» в Германии еще по сути не было, процесс его формирования только начинался. Причем начинался в рамках консервативной политической среды, которую в своей социальной доктрине Гегель не мог отбросить. Понимая, с одной стороны, что хозяйственный прогресс неосуществим без изменения сложившихся политических структур, Гегель пытался, с другой стороны, включить в современную ему политическую систему элементы (учение о «гражданском обществе»), способные обеспечить ее эволюцию в более развитый социальный строй.

Было бы упрощением полагать, будто Гегель искусственно подгонял свою политическую философию под принцип тождества бытия и мышления. Он не столько стремился примирить абсолютную идею с прусской со-

словной монархией, сколько поднять последнюю до абсолютной идеи. Боясь хаоса и произвола, он считал государство силой, которая, будучи просвещенной и конституционной, способна добиться необходимых перемен. Именно в этом смысле Гегель определял государство в «Философии права» как «шествие бога в мире». И здесь важно видеть за идеалистическим подходом рациональный подтекст. Каковы бы ни были субъективные намерения отдельных политических деятелей, государственный строй, если он не хочет быть разрушенным, должен не противиться, а содействовать социально-экономическим преобразованиям. В этой связи весьма показательны слова Ф. Энгельса, который писал в работе «Революция и контрреволюция в Германии»: «Наконец, и немецкая философия, этот наиболее сложный, но в то же время и надежнейший показатель развития немецкой мысли, встала на сторону буржуазии, когда Гегель в своей „Философии права“ объявил конституционную монархию высшей и совершеннейшей формой правления. Иными словами, он возвестил о близком пришествии отечественной буржуазии к власти» [1. Т. 8. С. 16].

В то же время Гегель не видел реальной социальной силы, способной заставить вращаться «колесо истории». Признание разума в истории оказывалось без этого мистическим. Более того, при определенных условиях идея государства как демиурга социального прогресса могла оборачиваться худшими формами тоталитарного подавления личности. Не случайно либеральные критики политической философии Гегеля рассматривали его концепцию исторического процесса как историю чингисханов. Однако Гегель в данном случае меньше всего заслуживает упрека.

Выше при анализе гегелевской трактовки экономических законов нами особо подчеркивалось, что философ исходил из предметно-трудовой деятельности

людей. В иенский период он отчетливо понимал, что люди сами творят свою историю. Но все это говорилось на уровне философского принципа, когда действительность следовало поднять до идеи. В берлинский период перед Гегелем встала прямо противоположная задача согласования идеи с действительностью. Не в смысле искусственной подгонки под нее, а в смысле отыскания тех движущих сил, которые смогли бы приблизить идею к действительности. Однако Гегель, видя экономический идеал в «гражданском», т. е. буржуазном, обществе, стоял на почве полуфеодальной Германии.

В анализе социально-экономической структуры современного ему общества Гегель выделял четыре сословия. Первое сословие — это феодалы и крестьяне. Его он называл «земледельческим, или субстанциальным». Отметим, что Гегель, будучи в ряде пунктов на голову выше морализма и эмпиризма Смита, тем не менее в своих представлениях о социальном строе общества уступал ему, поскольку исходил из немецкой действительности. Для него субстанциальное сословие — феодалы и крестьяне. Затем второе сословие — фабриканты, ремесленники и торговцы. Третье сословие — это государственные чиновники, четвертое — военные. Пролетариат, таким образом, вообще выносился за рамки какого-либо сословия.

Весьма характерно при этом, что Гегель считал членом правительства и государственных чиновников той частью общества, в которой сосредоточились «развитой ум и правовое сознание всей массы народа» («Философия права», § 297). В силу этого администрация наделяется свойством главного носителя социального выбора. Тем самым Гегель возлагает на бюрократическую машину задачу обновления общества, согласования идеала с действительностью. Однако парадокс заключался в том, и это хорошо показал

К. Маркс в «К критике гегелевской философии права», что бюрократия, окрепнув и встав на ноги, рано или поздно превращается в тормоз действительного прогресса. «Бюрократия, — писал К. Маркс, — считает самое себя конечной целью государства. Так как бюрократия делает свои „формальные“ цели своим содержанием, то она всюду вступает в конфликт с „реальными“ целями... Всеобщий дух бюрократии есть тайна, таинство... . Открытый дух государства, а также и государственное мышление представляется поэтому бюрократии *предательством* по отношению к ее тайне» [1. Т. 1. С. 271—272]. Следовательно, Гегель, ставя реалистические цели, предлагал их достигать утопическими средствами.

4.2. ПРОТИВОРЕЧИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ

Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доли людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке.

(Ф. М. Достоевский)

Формирование буржуазных отношений в Германии протекало в социально мучительных формах. На тяготы феодальной зависимости исподволь накладывался механизм капиталистической эксплуатации. Французский историк Ф. Бродель приводит бюджет семьи берлинского каменщика из 5 человек в 1800 г. (в % от всех расходов):

хлеб — 44,2;
продукты животного происхождения — 14,9;
напитки — 2,1;

прочие продукты растительного происхождения — 11,5;
квартирная плата — 14,4;
освещение, отопление — 6,8;
одежда и прочее — 6,1 [14. С. 147].

Высокий удельный вес продовольствия в структуре потребления означал сильную зависимость материального положения людей от погодных и природно-климатических условий. Неурожайные годы ставили жизнь простых людей на грань катастрофы. Дж. Рюде отмечает, что основными причинами народных волнений в истории были нехватка продовольствия и рост цен [35. С. 114]. В Германии эта нехватка усугублялась непомерными военными расходами и системой феодалных поборов.

Несмотря на это, политическая борьба в Германии не приняла сколько-нибудь острых форм. Задавленный нуждой народ и немецкое Просвещение развивались порознь друг от друга, оставаясь в своих замкнутых социальных сферах. Лишь изредка в немецких государствах вспыхивали волнения, которые оставались эпизодами, не создавая революционной ситуации. В 1790 г. крестьянские волнения охватили Саксонию, а в 1793 г. в прусской Силезии началось восстание ткачей. Но эти искорки быстро затухали, не разрастаясь в тот социальный пожар, который охватил соседнюю Францию. Во многом это объяснялось слабостью третьего сословия, кровно заинтересованного в перестройке политических институтов. В то время как во Франции Сийес, выражая интересы окрепшей буржуазии, ставил полные призыва к практическим шагам вопросы: «Что такое третье сословие? Все. Чем было оно до сих пор в политическом отношении? Ничем. Чего оно требует? Стать кое-чем в политическом отношении» [21. Т. I. Кн. 1. С. 189], в Германии еще не созрели экономические и социально-политические предпосылки для массового революционного движения.

Однако Гегеля отличало острое социальное чутье. Будучи идеологом нарождающейся буржуазии, он все-таки сумел подняться выше апологетики существующего порядка. Даже в мистифицированном виде диалектический метод позволил ему уйти дальше лучших представителей антифеодальной экономической мысли в понимании внутренней природы капиталистических отношений. Бесспорной заслугой философа следует признать догадку об усилении социально-экономического неравенства по мере развития «гражданского общества».

Превосходство гегелевского образа мышления состояло в том, что идея объективности хозяйственных отношений рассматривалась философом не в статике, а в динамике. В то время как Смит и его последователи поклонялись индустриальному идолу, восхваляя преимущества разделения труда, крупной промышленности и замены ручного труда машинами, Гегель был больше склонен видеть обострение сопутствующих развитию капитализма противоречий. Замечательно то, что идеалист Гегель оказался чрезвычайно близок к материалисту Гоббсу при характеристике внутренней природы «гражданского общества». «То, что кажется общественным порядком, — говорит он, — есть, следовательно, эта всеобщая вражда, в которой каждый прибирает к рукам, что может... Этот порядок есть общий ход вещей (Weltlauf), видимость непрерывного процесса, который есть лишь мнимая всеобщность» [З. Т. IV. С. 202]. При чтении этого отрывка невольно вспоминаются слова Гоббса о войне всех против всех как главном принципе устройства современного ему общества.

Как уже отмечалось выше, Гегель проводил различие между конкретным и абстрактным трудом. Первый он относил к традиционным формам ведения хозяйства, тогда как абстрактный труд философ рассматри-

вал исключительно в контексте определений «гражданского общества». Гегель, таким образом, уловил исторически определенный, а именно буржуазный характер абстрактного труда. Более того, в отличие от своих современников он видел связь между абстрактным трудом и превращением работника в частичное рабочее тело, в придаток машины. «Труд, делающийся вместе с тем более абстрактным, — писал он, — влечет за собой, с одной стороны, вследствие своего единообразия, легкость работы и увеличение производства, с другой — ограничение каким-нибудь одним умением и тем самым безусловно зависимость от общественной связи. Само умение становится вследствие этого механическим и приобретает способность заменить человеческий труд машиной» [6. Т. 3. С. 343].

Ухватив диалектику труда в «гражданском обществе», Гегель в зародышевой форме поставил проблему формального и реального подчинения труда капиталу. Он видел, что развитие мануфактуры и переход к использованию машин делают работника винтиком в механизме хозяйствования. «Сила самости, — писал Гегель, — состоит в широте охвата, а последнее теряется. Он может некоторые виды труда передать машине; тем формальнее становится его собственное делание. Его тупой труд ограничивает его одной точкой, и труд тем совершеннее, чем он одностороннее» [4. Т. 1. С. 343].

Здесь опять-таки нельзя идти по пути прямого сопоставления Гегеля и Маркса. Философ просто не мог в силу неразвитости буржуазных отношений и отсутствия необходимого эмпирического материала подняться до широких теоретических обобщений. Но дело не в том, чего нет у него по сравнению с Марксом, а в том, насколько проницательным был взгляд Гегеля на положение вещей в отличие от современной ему экономической мысли.

Диалектический подход к развитию социальных

отношений позволил ему подняться выше метафизической дихотомии, видевшей мир сквозь призму принципа: «С одной и с другой стороны». Гегель в этом смысле качественно отличался как от Рикардо, так и Сисмонди, стоявших на диаметрально противоположных полюсах. В то время как Рикардо отстаивал принцип развития и прогресс производства любой ценой, Сисмонди, напротив, призывал пожертвовать подъемом производительных сил ради сохранения патриархального социального мира. «Сисмонди, — писал Маркс, — глубже понял ограниченность основанного на капитале производства, его отрицательную односторонность. Рикардо больше понял универсальную тенденцию капиталистического производства» [1. Т. 46. Ч. I. С. 388]. Совершенно иначе к этому вопросу подходит Гегель. Он не только не противопоставляет одно другому, но увязывает противоречивые моменты развития «гражданского общества» в целостный социальный процесс.

В этой связи трудно согласиться с автором интересной книги А. Аггом «Мир человека как субъекта производства», который пишет: «Ни Рикардо, ни Гегель не могут прийти к признанию антропологической ограниченности капиталистического производства...» [9. С. 134]. Как раз наоборот, Гегель в противоположность Рикардо, никогда не был склонен (даже во имя прогресса!) полагать, что цель оправдывает средства. И здесь он до известной степени предвосхищает Маркса, который, признавая всемирно-историческую заслугу капитализма, в то же время ясно видел, что «более высокое развитие индивидуальности покупается только ценой такого исторического процесса, в ходе которого индивиды приносятся в жертву» [1. Т. 26. Ч. II. С. 123].

Бесспорной заслугой Гегеля следует признать догадку об усилении социально-экономической диффе-

ренциации по мере развития «гражданского общества». Как в ранних, так и в поздних работах он высказывал мысли о поляризации социального и имущественного неравенства. В «Иенской реальной философии» он писал: «Пусть погибнет что угодно: семья, благосостояние, жизнь и т. д., но вексель должен быть оплачен — совершенная бессердечность. Фабрики, мануфактуры основывают свое существование именно на нищете одного класса» [4. Т. I. С. 368— 369]. В этом высказывании чувствуется, что эмоциональное начало преобладает над строгим анализом тенденций капиталистического развития. Спустя примерно 15 лет Гегель не только не отказался от своих ранних высказываний, но пошел еще дальше. В «Философии права» он говорил о том, что в «гражданском обществе» происходит концентрация «чрезмерных богатств в немногих руках» и в то же время наблюдается «бесконечный рост зависимости и нужды» [3. Т. VII. С. 221, 224, 254].

Благодаря диалектическому методу Гегель, как уже отмечалось, не разрывал процесс капиталистического накопления на «хорошую» и «плохую» стороны, рассматривая его противоречивые характеристики как моменты единого целого. Этим он качественно отличался от разного рода утопистов, пытавшихся «придумать» идеальное общество путем произвольного отбрасывания отрицательных свойств реальной социально-экономической системы. Удивительное умение видеть связь целого позволило Гегелю нащупать нити к пониманию всеобщего закона капиталистического накопления.

Философ самым недвусмысленным образом выводит обогащение одних и разорение других из внутренней природы капиталистического производства. Вот что он писал: «(Богатство) — это такая точка притяжения, которая собирает вокруг себя все, что попадает в поле ее действия, подобно тому как большая масса притягивает к себе меньшую. У кого есть, тому приба-

вится. Приобретение становится многосторонней системой, которая со всех сторон приносит доход, — более мелкое дело не может использовать все эти стороны. Другими словами, наиболее абстрактный труд все больше пронизывает отдельные виды и охватывает все более широкую сферу. Это неравенство богатства и нищеты, эта нужда и необходимость становится наивысшей разорванностью воли, внутренним возмущением и ненавистью» [4. Т. 1. С. 344].

Этот отрывок замечателен в нескольких отношениях. Во-первых, Гегель уловил тенденцию к концентрации и централизации капитала, хотя, разумеется, не мог дать ей научного объяснения. Во-вторых, он зафиксировал присущий буржуазной форме труда экспансионизм, имеющий своим следствием процесс развития капиталистических отношений вглубь и вширь. В-третьих, он увязывал накопление богатства с усилением социального неравенства и ростом нищеты. Мыслителю удалось воссоздать довольно точную панораму динамики классовых отношений в период капитализма свободной конкуренции. И это тем более удивительно, что жил он в полуфеодальной Германии, наблюдая за развитием буржуазных отношений как бы со стороны. Этот отрывок был написан Гегелем в самом начале XIX в., когда не только он сам, но и всемирно-исторический процесс не накопили всей суммы необходимых фактов, позволявших бы достоверно судить о потенциях и границах капиталистического накопления. Перед нами, таким образом, уникальный образец социального прогнозирования.

Было бы, разумеется, ошибочным устанавливать механическую связь между приведенными высказываниями и открытым К. Марксом всеобщим законом капиталистического накопления. Обоснование исторической тенденции капиталистического накопления в «Капитале» дается, как известно, на достаточно высоком

уровне восхождения от абстрактного к конкретному, когда раскрыты тайны товара, денег, источника прибавочной стоимости, определены стадии развития капитализма и закономерности изменения органического строения капитализма. Иными словами, у К. Маркса мы находим законченное научное объяснение эмпирически наблюдаемых фактов. У Гегеля же можно видеть подкупающую своей прозорливостью констатацию только обнаружившихся фактов. Пафос обличения у него не выходит за рамки буржуазного кругозора.

4.3. ГРАНИЦЫ ГЕГЕЛЕВСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Горе народу, если рабство не смогло его унижить, такой народ создан, чтобы быть рабом.

(П. Я. Чаадаев)

Адорно — один из видных представителей немарксистской диалектики XX в. — утверждал, что «Гегель, сам того не осознавая, рассматривал труд в духе буржуазной политэкономии в качестве единственного источника общественного богатства» [22. С. 200]. Анализ всей совокупности высказываний Гегеля по проблеме труда доказывает, что философ сознательно видел в нем альфу и омегу воспроизводства индивида и общества в целом. Ему впервые в истории удалось синтезировать экономические и социальные аспекты процесса труда. Именно Гегель самым недвусмысленным образом определил трудовую деятельность в качестве творческой причины самополагания человека, его перехода из животного состояния к цивилизованному развитию.

Именно в анализе труда наиболее полным образом проявились достоинства гегелевской диалектики соци-

альных отношений. Особо важное значение имеет его понимание взаимосвязи социальной свободы и рабства.

Гегель удивительно тонко раскрыл переход от зависимости к самоутверждению личности, используя для этого предметно-трудовую деятельность человека. Классическим выражением его мировоззренческой позиции стала проблема диалектики господина и раба, к разработке которой Гегель возвращался во многих своих работах.

Еще в «Системе нравственности» он ввел понятия господина и раба, рассматривая их как взаимообусловленные стороны единого целого. При этом философ отмечал, что нужда есть «то, что образует связь обоих» [8. С. 306]. Она, следовательно, заставляет человека трудиться, а труд в свою очередь требует принуждения. В «Системе нравственности» Гегель только поставил проблему социального неравенства. «Господин, — писал он, — владеет избытком физически необходимого вообще, а другой — живет в недостатке такового, и именно так, что тот избыток, как и этот недостаток, является не единичной стороной, а безразличием необходимых потребностей» [8. С. 306]. Свое дальнейшее развитие негативный аспект труда получил в «Иенской реальной философии», в которой философ фиксирует внимание на отрицательных социальных последствиях разделения труда. «Множество людей, — подчеркивал Гегель, — осуждено на совершенно отупляющий, нездоровый и необеспеченный труд — труд на фабриках, мануфактурах, рудниках, ограничивающий умелость, и отрасли индустрии, за счет которых содержался большой класс людей, вдруг иссякают из-за моды или удешевления, благодаря изобретениям в других странах и т. д., так что все это множество падает в нищету, не будучи в состоянии избежать ее. Выступает противоположность большого богатства и

большой нищеты, которой ничем невозможно помочь» [4. Т. 1. С. 343—344].

Но уже в «Феноменологии духа» появляется новый социальный мотив в оценке труда. Его разрушительная сторона уходит на второй план, уступая место реализации творческих потенций человека. Взаимоотношения господина и раба приобретают диалектический характер. Господин, освободив себя от обязанности трудиться и переложив трудовые функции на раба, создает условия для выхода последнего из подчиненного состояния. Обработывая вещество природы, раб развивает свои способности, а вместе с ними самосознание и чувство независимости. В то же время господин, лишь потребляя созданные рабом вещи, впадает в зависимость не только от них, но и от раба. Незаметным образом господин превращается в раба своего раба, а тот — в господина своего господина. Отсюда, пишет Гегель, «...то, что делает раб, есть, собственно, делание господина» [3. Т. IV. С. 104].

Спустя 10 лет после выхода «Феноменологии духа» в «Энциклопедии философских наук» (1817 г.) Гегель вновь возвращается к проблеме раба и господина. Благодаря труду, подчеркивает он, «раб возвышается над самостной единичностью своей естественной воли и постольку стоит по своей ценности выше, чем господин, остающийся во власти своего себялюбия...» [6. Т. 3. С. 248]. Вместе с тем в «Энциклопедии философских наук» появляются новые акценты в раскрытии диалектики господина и раба. Философ отмечает, что внутри системы рабства вызревает идея освобождения, которую необходимо выстрадать. «Чтобы стать свободным, — пишет Гегель, — чтобы приобрести способность к самоуправлению, все народы должны были пройти предварительно через строгую дисциплину и подчинение воли господина» [6. Т. 3. С. 346].

Однако, и это важно подчеркнуть, Гегель видит

в рабстве и тирании лишь относительно оправданную ступень в истории народов. «Господин, противостоящий рабу, не был еще истинно свободным, ибо он еще не видел в другом с полной ясностью самого себя» [6. Т. 3. С. 248]. Путь к свободе поэтому должен идти не только снизу, но и сверху. Освобождение от холопского состояния представляет собой процесс, в котором нужно не только иметь желание перестать быть подчиненным, но и избавиться от привычки подчинять других. С особым негодованием Гегель относился к тем, кого рабство делает пассивным и бездеятельным. «В отношении тех, кто остается рабами, не совершается никакой абсолютной несправедливости; ибо, кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения своей свободы, тот заслуживает быть рабом, и, наоборот, если какой-нибудь народ не только воображает, что он желает быть свободным, но действительно имеет энергичную волю к свободе, тогда никакое человеческое насилие не сможет удержать его в рабстве...» [6. Т. 3. С. 246—247].

Гегелевская диалектика социальных отношений имела свои границы. Маркс обоснованно упрекал Гегеля в том, что он «видит только положительную сторону труда (как труда, создающего собственно человека. — А. Х.), но не отрицательную» [1. Т. 42. С. 159]. Естественно, встает вопрос, что же понимал Маркс под отрицательной стороной труда и в чем он усматривал ограниченность понимания Гегелем социальной функции труда? В нашей литературе имеется два варианта ответа на поставленный вопрос. Долгое время считалось, что философ не видел социальных антагонизмов, апологетически подходил к оценке роли труда в буржуазном обществе. Однако вся совокупность приведенных выше высказываний Гегеля убедительно доказывает необоснованность этой позиции. Правильное, на наш взгляд, решение вопроса дает А. В. Гулыга,

который полагает, что суть дела в неспособности Гегеля «найти путь к диалектическому отрицанию капитализма» [19. С. 221].

Философ действительно не видел в системе «гражданского общества» внутренних сил, потенций, которые позволили бы человеку труда выйти из подчиненного состояния. Не следует, разумеется, забывать, что во времена Гегеля пролетариат только еще превращался из класса-в-себе в класс-для-себя. И вряд ли можно было ожидать от Гегеля понимания действительной роли рабочего класса в революционном переустройстве буржуазного общества. Однако здесь удивляет полная утрата философом присущего ему исторического чутья. Обличая недостатки «гражданского общества», он словно начисто забыл о метко схваченной им же самим диалектике раба и господина. Разве класс фабрикантов и торгашей, следуя терминологии Гегеля, не превращает себя в раба, а рабочее сословие в господина тем, что ставит его между веществом природы и удовлетворением потребностей? Философ, следовательно, мог в спекулятивно-умозрительной форме видеть в рабочем сословии ту силу, которая взяла бы на себя функцию преобразования общественного строя. Но он не сделал этого. Более того, зрелый Гегель говорил о рабочем сословии уже как о черни [3. Т. VII. С. 255].

Глава 5

СУДЬБА ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МЕТОДА

5.1. ГЕГЕЛЬ И МОЛОДОЙ МАРКС

Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов.

(Ньютон)

К 60-летию Гегеля его учениками была заказана памятная медаль. На лицевой стороне был выбит профиль юбиляра, на оборотной — Гегель в центре, женская фигура с крестом — справа, ученый с книгой — слева, а над ними сова, олицетворявшая мудрость. Слава Гегеля, хотя так и не избранного в академию, достигла апогея. Он был окружен учениками, вниманием правительственных кругов и множеством почитателей. Наскоки недругов, писавших пасквили, только подтверждали всю грандиозность его философских построений.

Но 14 ноября 1831 г. Гегель скоропостижно умер от холеры. Казалось, что созданная им система объективного идеализма останется философу вечным памятником. Однако этому не суждено было сбыться. Учение Гегеля стало подвергаться критическим нападкам и слева, и справа. Сразу же после его смерти все более открыто проявлялись разногласия внутри гегелевской школы, тревожные симптомы которых обнаружились еще в последние годы жизни мыслителя. Чувствитель-

ным ударом оказалось приглашение Шеллинга в Берлинский университет, где работал Гегель. В последние годы жизни они, оставаясь в приятельских отношениях, непримиримо разошлись по своим философским убеждениям.

Авторитет Гегеля ставился под сомнение как консервативно, так и радикально мыслящими людьми. Но не только нападки извне буквально на глазах разрушали построенное им с величайшей основательностью здание объективного идеализма. Было нечто такое, что изнутри разъедало учение Гегеля. Оно оказалось дихотомичным по своей природе: система и метод пришли в противоречие, столкнувшись подобно неодолимым тектоническим плитам. В то время как развитый Гегелем диалектический метод был по своему существу революционным и критичным, его система, приспособленная к существующим условиям, оказалась догматичной и лишенной саморазвития. Соответственно появились два лагеря внутри гегелевской школы: старогегельянцы, которые держались ортодоксии учения (системы), и младогегельянцы, делавшие ставку на радикально-критические элементы его философского наследия. Последовавшая вслед за поражением революции 1830 г. волна политической реакции придала этому конфликту драматический характер.

И тем не менее указанные интеллектуальные течения хотя и боролись между собой, но не выходили за парадигму философских воззрений Гегеля. Ревизии подвергались отдельные элементы его доктрины. Совершенно особое место среди критиков Гегеля занимал молодой Маркс. Будучи воспитанным на традициях диалектического метода и на короткое время переболев фейербахианством, он оказался единственным мыслителем, который сумел подняться до позитивной критики гегелевского учения и тем самым спасти его от того, что, к сожалению, часто становится уделом ве-

ликих философских школ, — окончательной вульгаризации.

В не столь отдаленном прошлом обыденному сознанию в качестве великой аксиомы внушалась мысль, будто К. Маркс взял у Гегеля «рациональное зёрно» (метод), отбросив философскую шелуху — систему. В действительности же творческая переработка философии Гегеля была мучительно трудным процессом, занявшим годы напряженного интеллектуального труда. Молодого Маркса роднили с Гегелем высочайшая культура философского мышления и острое социальное чутье. Отличия же заключались в неспособности Маркса идти на компромиссы с теоретической совестью и в его умении увязывать мировоззренческие принципы с практическим переустройством общества.

Ключевую роль в творческом преодолении мистифицирующих и догматических элементов гегелевской философии сыграла проблема отчуждения, занимавшая центральное место в идеалистической диалектике немецкого мыслителя. В период, когда молодой Маркс еще разделял позиции гегелевской философии, понятие отчуждения в его работах, в первую очередь в докторской диссертации о различии между натурфилософией Демокрита и Эпикура (1841 г.), бралось в гегелевской интерпретации.

Гегель рассматривал категорию «отчуждение» в трех аспектах. Во-первых, в онтологическом, который выражал собой переход логической идеи в свое инобытие, т. е. в бытие естественной и социальной природы. Переход идеи в природу, опредмечивание ее, характеризовалось Гегелем как отчуждение идеи от самой себя. Отчуждение духа есть его «овнешнение» (*Entäußerung*), который, проходя через различные формы природного и социального бытия, стремится к тому, чтобы стать абсолютным. Второй аспект — гносеологический, суть которого состояла в том, что отчужде-

ние и его преодоление связывались с переходом истины в заблуждение, и наоборот. Однако наибольший интерес представляет третий — социальный — аспект гегелевской трактовки отчуждения. В «Феноменологии духа» была предпринята, как уже отмечалось, попытка социального анализа буржуазных общественных отношений, существо которых Гегель усматривал в принципе эгоизма и конкуренции, прикрытых внешней добропорядочностью. Крайне замечательно, что Гегель исходил из трудовой деятельности как основы бытия индивидов, разделяя тем самым, как замечал К. Маркс, точку зрения классической политической экономии [1. Т. 42. С. 159].

Все же Гегель определенным образом смешивал опредмечивание труда и его отчуждение, оставаясь в плену фетишистских представлений. Философ видел, что прогрессивный процесс опредмечивания труда совершается в «гражданском обществе» за счет обезчеловечивания трудящегося, но он не делал вывода о необходимости преобразования общества, которое порождает социальную отчужденность. Отчуждение всегда предполагает опредмечивание социальных отношений, однако только при определенных экономических и политических условиях опредмечивание влечет за собой также самоотчуждение и отчуждение человека.

Осознание именно этого различия легло в основу критического преодоления молодым Марксом ограниченности гегелевской диалектики социальных отношений. «Исходя из весьма несовершенного понимания политической экономии, — писал Лукач, — Гегель гениально угадал в *Entäußerung*, *Entfremdung* фундаментальный факт жизни и поэтому сделал понятие „отчуждения“ центральным понятием своей философии. Марксова критика Гегеля исходит из более глубокого и истинного понимания самих экономических фак-

тов» [28. С. 595]. Таким образом, в теоретическом плане именно социальная философия Гегеля подтолкнула молодого Маркса к занятиям политической экономией. Однако этот процесс не был механически заданным. Необходимо было преодолеть гегелевскую парадигму.

Работы Фейербаха стали тем толчком, который ускорил выход критических размышлений К. Маркса за рамки гегелевской системы. Влияние Фейербаха на молодого Маркса, а влияние это несомненно, было двойственным. С одной стороны, положительное действие оказал материализм Фейербаха, с другой — его антропологический метод и созерцательность консервировали демократические и социалистические идеи на уровне социальной утопии, абстрактной фразы о равенстве и вечной справедливости.

Определенное воздействие на революционно-демократические взгляды Маркса имели также различные пролетарские и мелкобуржуазные социалистические учения. В свое время им положительно оценивалась статья Гесса «О сущности денег» в сборнике «Двадцать один лист» и даже принималась в отдельных случаях его терминология. В «Экономическо-философских рукописях 1844 года», например, положительно оценивалась категория «обладание» Гесса. Весьма показательной является работа Маркса «К еврейскому вопросу», написанная в переломном 1843 г. Содержание категории «отчуждение» раскрывалось в этой работе через характеристику денег, которые рассматривались внеисторически, с позиции абстрактного гуманизма. Давалось следующее определение: «Деньги — это отчужденная от человека сущность его труда и его бытия; и эта чуждая сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей» [1. Т. 1. С. 410].

Анализ ранних произведений К. Маркса позволяет сделать вывод о том, что в исследовании и описании

процессов и явлений, присущих буржуазной эпохе, он исходил из факта отчуждения. При этом усилия Маркса направлены на то, чтобы перевести социальный аспект гегелевской трактовки отчуждения с мистифицированного языка на почву реальной экономической действительности. Наиболее полным образом это проявилось в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» (далее просто «Рукописи 1844 г.» — А.Х.), где категория отчуждения была развита до исходного методологического принципа.

В «Рукописях 1844 г.» категория отчуждения анализируется в нескольких связанных друг с другом аспектах: 1) экономическом; 2) психологическом; 3) социологическом.

В отделении предметного результата трудовой деятельности от непосредственного носителя трудовой деятельности — рабочего — заключается наиболее существенное определение понятия отчуждения. Рабочий, находящийся в непосредственной связи со средствами производства в акте производства, теряет эту связь с продуктом своего труда, поскольку тот становится чужой собственностью. Отчуждение овеществленного труда находится в прямой зависимости от количества опредмеченного труда. Чем больше рабочий очеловечивает природу, чем больше ее осваивает, тем в большей степени он выключается из действительности. «Рабочий относится к *продукту своего труда*, как к *чужому предмету*» [1. Т. 42. С. 88] — таков экономический аспект отчуждения. Остальные два выступают как следствия экономического.

Отчуждение продуктов труда ведет к тому, что сам процесс труда становится чем-то внешним и безразличным. В процессе труда рабочий чувствует себя оторванным от своего личного бытия и рассматривает труд как «принудительный труд», поэтому деятельность рабочего «есть утрата рабочим самого себя»

[1. Т. 42. С. 91]. В этом заключается самоотчуждение труда, определяющее психологию рабочего, который работает постольку, поскольку это необходимо для приобретения средств к жизни. Единственным стимулом к труду остается лишенный духовного содержания голый материальный интерес, превращающий человеческий труд в животную функцию.

Отчуждение и самоотчуждение труда приводят к тому, что, во-первых, родовая сущность человека превращается в отчужденную и, во-вторых, происходит отчуждение человека от человека. Отчуждение становится тотальным, захватывая бытие и сознание не только эксплуатируемых, но и эксплуататорских классов. «Каждый, — писал К. Маркс, — стремится вызвать к жизни какую-нибудь *чуждую* сущностную силу, господствующую над другим человеком, чтобы найти в этом удовлетворение своей собственной своекорыстной потребности» [1. Т. 42. С. 128].

Основу отчужденного труда К. Маркс усматривал в частной собственности, которая в свою очередь является его следствием. Частная собственность выступает, с одной стороны, как средство отчуждения труда, а с другой — как продукт отчужденного труда. Непосредственная взаимная привязка отчуждения труда и частной собственности находилась в полном соответствии с методологией раннего Маркса, рассматривавшего частную собственность как отчужденную форму социальных отношений. С точки зрения автора «Рукописей 1844 г.», практическое, реальное преодоление отчуждения возможно при том условии, что будет уничтожена частная собственность, причем материальным, а не идеальным образом. «Для уничтожения *идеи* частной собственности вполне достаточно *идеи* коммунизма. Для уничтожения же частной собственности в реальной действительности требуется *действительное* коммунистическое действие» [1. Т. 42. С. 136].

Молодой Маркс придавал категории отчуждения универсальное методологическое значение, принимая ее за тот исходный пункт, который содержит в себе всю систему категорий капиталистического способа производства. В «Рукописях 1844 г.» эта категория наряду с категорией частной собственности выступает отправной точкой дальнейшего анализа капиталистических производственных отношений. К. Маркс писал следующее: «Как из понятия *отчужденного труда* мы получили путем *анализа* понятие *частной собственности*, точно так же можно с помощью этих двух факторов развить все экономические *категории*, причем в каждой из категорий, например торговле... конкуренции, капитале, деньгах, мы найдем лишь то или иное *определенное и развернутое выражение* этих первых основ» [1. Т. 42. С. 98].

Вряд ли будет верным считать такой подход к проблеме отчуждения проявлением методологической слабости молодого Маркса, унаследованной от Гегеля и Фейербаха. Хотя анализ отчуждения и не позволил раскрыть совокупность производственных отношений и форм общественного сознания буржуазного общества, однако заслуга Марксова анализа отчуждения в «Рукописях 1844 г.» состояла в подчеркивании социально-экономического аспекта отчуждения, в строгом определении исторического характера этой категории, в попытке связать рассмотрение отчуждения с анализом системы производственных отношений.

Вместе с тем перед К. Марксом вставала задача преодоления элементов абстрактного подхода к проблеме отчуждения и воспроизведения в теоретической форме всей системы социально-экономических отношений, характеризующих природу и историческое место буржуазной эпохи. Если в ранних работах Маркс подходил к капиталистическим отношениям через отчуждение, на первых этапах научного анализа это было

вполне допустимо, то на определенной ступени развития теоретических взглядов перед ним закономерно встали вопросы: почему при капитализме отношения между людьми принимают отчужденную форму, какие обстоятельства вновь и вновь порождают отчуждение и самоотчуждение труда, существуют ли пути преодоления отчуждения? Иначе говоря, возникла необходимость в исследовании всей системы капиталистических производственных и иных общественных отношений.

Уже через год после «Рукописей 1844 г.» в работе «Святое семейство», написанной вместе с Ф. Энгельсом, намечаются неясные контуры конкретизации многозначной категории отчуждения. В этом произведении отчуждение рассматривается через характеристику классового антагонизма. «Имущий класс и класс пролетариата представляют одно и то же человеческое самоотчуждение. Но первый класс чувствует себя в этом самоотчуждении удовлетворенным и утвержденным, воспринимает отчуждение как свидетельство *своего собственного могущества* и обладает в нем *видимостью* человеческого существования. Второй же класс чувствует себя в этом отчуждении уничтоженным, видит в нем свое бессилие и действительность нечеловеческого существования» [1. Т. 2. С. 39]. Абстрактный подход сменился здесь дифференцированным, было определено одно из наиболее существенных отношений социально-экономической действительности капиталистического общества. Эта тенденция усилилась в работе «Немецкая идеология» (1846 г.), также написанной совместно, где, несмотря на некоторое влияние трактовки отчуждения в духе «Рукописей 1844 г.», категория отчуждения во многом ограничивается локальными рамками.

В «Немецкой идеологии» выделены такие категории («форма общения», «общественная практика», «эксплуатация»), которые уже не объясняются категори-

ей отчуждения, а, напротив, сами ее объясняют. Последняя перестает выступать в качестве исходного пункта системы производственных отношений; явления капиталистической общественной жизни не растворяются в термине «отчуждение». Более того, авторы «Немецкой идеологии» решительно выступили против ненаучного приема подмены конкретного анализа общей фразой. В частности, критикуя аргументацию М. Штирнера (К. Шмидта) в книге «Единственный и его собственность», К. Маркс и Ф. Энгельс заметили относительно использования Штирнером категории отчуждения: «...дело сводится у него только к тому, чтобы все действительные отношения, а равно действительных индивидов, заранее объявить отчужденными (если пользоваться пока еще этим философским выражением), чтобы свести их к совершенно абстрактной фразе об отчуждении. Значит, вместо задачи — изобразить действительных индивидов в их действительном отчуждении и в эмпирических условиях этого отчуждения, — мы имеем здесь дело все с тем же приемом: вместо развития всех чисто эмпирических отношений подставляется пустая мысль об отчуждении...» [1. Т. 3. С. 270—271].

Дальнейшая переоценка взглядов на проблему отчуждения произошла в работе «Манифест Коммунистической партии». Так, в разделе критики немецкого «истинного» социализма высмеивалась бесплодная игра в дефиниции, когда научный анализ подменялся наукоподобными словами. Этой иронией, таким образом, трактовка отчуждения в работе «К еврейскому вопросу» подвергалась косвенной, но недвусмысленной критике.

Сделав вывод, что отчуждение невозможно понять и объяснить вне рассмотрения всей совокупности капиталистических производственных отношений, К. Маркс приступил к кропотливому фактическому и тео-

ретическому исследованию экономической структуры буржуазного общества. В процессе написания «Капитала» термин «отчуждение» не выпал из словоупотребления. К. Маркс продолжал им пользоваться. Однако с каждым новым вариантом рукописи «Капитала» сфера применения данной категории сужалась. К. Маркс все чаще отказывался от нее, употребляя ее в случаях, где не достигнута полная терминологическая ясность или как юридический термин.

В частности, в «Экономических рукописях 1857—1858 годов» при анализе заработной платы Маркс писал: «Тем, что рабочий обменивает на капитал, является сам его труд... он *отчуждает* свой труд. То, что рабочий получает в качестве цены, есть *стоимость* этого отчуждения» [1. Т. 46. Ч. I. С. 277]. Позднее, в «Капитале», К. Маркс конкретизирует свои взгляды по этому вопросу. Вместо туманного термина «стоимость этого отчуждения» он введет в научный оборот «стоимость товара — рабочая сила». Он далее установит, что в условиях капитализма происходит купля-продажа товара — рабочая сила, а не отчуждение труда. Рабочий получает не за отчужденный труд, а за способность к труду.

Несмотря на то что в «Экономических рукописях 1857—1858 годов» К. Маркс продолжал пользоваться термином отчуждения, однако этот термин все больше лишается своих первоначальных характеристик. Отчуждением выражается специфичность социально-психологических и волевых отношений буржуазного производства. Примечательно, что в работе «К критике политической экономии» (1859 г.), в которой анализируются ключевые категории товарного производства — товар и деньги, отчуждение используется Марксом как всего лишь юридический термин [1. Т. 13. С. 29, 31, 43, 69, 120—121].

В «Капитале» происходит уже полная демистифи-

кация отчуждения. Если в ранних работах оно выступало исходным пунктом анализа, то в «Капитале» констатация феномена отчуждения уступает место исследованию всей системы капиталистической эксплуатации. Эзотерическое богатство определений, скрывающихся за отчуждением, благодаря диалектическому анализу получает самостоятельное экзотерическое выражение.

Наиболее полным образом этот методологический подход был реализован Марксом в «Капитале». Здесь произошла дальнейшая конкретизация термина отчуждения, в результате чего отчуждение утратило свойства универсальной категории. Автор «Капитала» не отрицает факта отчуждения. Более того, он продолжает из него исходить. Однако отчуждение раскрывается К. Марксом через анализ совокупности производственных отношений. В I томе «Капитала» он отказывается от данной категории, развертывая ее в целостную диалектическую систему категорий. Анализ отчуждения незримым образом присутствует при рассмотрении товара, развития формы стоимости, товарного фетишизма, денег, превращения денег в капитал, методов производства и форм прибавочной стоимости, заработной платы, накопления капитала. Но только после того, как из товара и денег доказательно выведены категории капитала и прибавочной стоимости, отчуждение предстает в виде эмпирически воспринимаемого феномена. Приведем в связи с этим одну весьма характерную выдержку из XXI главы I тома «Капитала»: «Так как до его (рабочего. — А. Х.) вступления в процесс его собственный труд был отчужден от него, присвоен капиталистом и включен в состав капитала, то в ходе процесса этот труд постоянно овеществляется в чужом продукте... Таким образом, рабочий сам постоянно производит объективное богатство как капитал, как чуждую ему, господствующую над ним и эксплуатиру-

ющую его силу, а капиталист столь же постоянно производит рабочую силу как субъективный источник богатства, отделенный от средств ее собственного овеществления и осуществления, абстрактный, существующий лишь в самом организме рабочего, — короче говоря, производит рабочего как наемного рабочего. Это постоянное воспроизводство или увековечивание рабочего есть *conditio sine qua non* (непременное условие) капиталистического производства» [1, Т. 23. С. 583—584].

Весьма характерно, что в III томе «Капитала», в котором все явления и процессы капиталистической действительности рассматриваются в том виде, в каком они предстают перед агентами производства и отражаются в их сознании, К. Маркс несколько шире оперирует термином «отчуждение». Так, в V главе III тома, говоря об отношении рабочего к средствам производства, Маркс подчеркивает безразличный характер этого отношения, сходный с отношением лошади к дешевым или дорогим удилам. Причина этого заключается в том, что «... рабочий в действительности относится к общественному характеру своего труда, к его комбинации с трудом других ради общей цели, как к некоторой чуждой ему силе; условием осуществления этой комбинации является чуждая рабочему собственности, расточение которой несколько не затрагивало бы интересов рабочего, если бы его не принуждали экономить ее» [1. Т. 25. Ч. I. С. 97]. Отчужденность общественного характера труда ставится в зависимость от существующих экономических отношений; отчуждение выступает здесь уже как следствие «чуждой рабочему собственности». Оно, следовательно, может быть раскрыто только через анализ отношений собственности, что в конечном счете сводится к системе категорий капиталистического способа производства.

В приведенном выше фрагменте К. Маркс вносит в

термин «отчуждение» определенный психологический оттенок. Безразличное отношение к средствам производства, экономически насильственное принуждение к труду непосредственно осуществляются через осознание рабочим отчужденности труда. В том случае, когда фабрика принадлежит самим рабочим (К. Маркс приводит в качестве примера эксперимент социалистов-утопистов в городе Рочдейле), наблюдается обратная картина — труд перестает носить самоотчужденный характер.

В другом месте III тома «Капитала» (XV глава), где анализируется развитие внутренних противоречий закона тенденции нормы прибыли к понижению, указывается, что капитал «... оказывается отчужденной, обособленной общественной силой, которая противостоит обществу как вещь и как сила капиталиста через посредство этой вещи» [1. Т. 25. Ч. I. С. 290]. Как известно, в «Капитале» понятие капитала было демистифицировано. В одном из его определений К. Маркс подчеркивал, что капитал не является вещью, а представляет собой общественное отношение. Однако на поверхности явления, в сознании и представлениях непосредственных носителей производственных отношений, капитал имеет вещный характер. Поскольку в условиях капитализма межличностные связи приобретают отчужденную форму, то в данном томе «Капитала» К. Маркс гораздо чаще обращается к терминам «отчуждение» и «самоотчуждение».

Методология Марксова анализа сохраняет полное значение для раскрытия отчужденных форм при социализме. Исторический опыт показал, что при определенных условиях общественная собственность воспринимается как «ничейная», происходит отчуждение работников от средств производства, нарастает социальная конфликтность. Элементы отчуждения уже нельзя объяснить «родимыми пятнами» старого общества.

Верно, что Маркс указывал на «родимые пятна» как на причину социальных эксцессов. Однако у него речь шла об обществе, только что вышедшем из-под власти капитала. Совсем другое дело, когда имеются сформировавшиеся социалистические производственные отношения. Если «родимые пятна» вновь и вновь воспроизводятся, то вся суть дела заключается уже не в них, а в самом производстве. На наш взгляд, так называемые «антисоциалистические явления» должны в первую голову объясняться материальными условиями жизни в социалистическом обществе.

Однако само по себе признание отчужденных форм при социализме хотя и является шагом вперед, но служит лишь предварительной ступенью их анализа. Констатация того, что собственность стала «ничейной», только фиксирует эмпирически воспринимаемые факты. Сегодня самой жизнью поставлена необходимость раскрыть внутренние причины, порождающие социальную апатию, безразличие производителей к условиям и результатам их труда. В связи с этим перед политической экономией социализма выдвигается задача преодоления идеологизированных представлений о природе экономического строя социалистического общества и перехода к изучению реально складывающихся отношений производства, распределения и обмена.

5.2. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОСЛЕ МАРКСА

Кто имеет сказать о Гегеле только то, что он был мистиком и идеалистом, тот пусть лучше молчит.

(А. М. Деборин)

Если в работах молодого Маркса на первом месте стояла задача критики системы Гегеля, то в зрелые годы он обращал особое внимание на разработку метода

материалистической диалектики. Еще в «К критике гегелевской философии права» (1843 г.) Маркс отмечал, что «Гегель дает *своей логике политическое тело*, но он не дает *логики политического тела*» [1. Т. 1. С. 273—274]. Этим «телом» стал экономический строй буржуазного общества, воспроизведенный в теоретически последовательной форме и представленный в качестве целостной системы диалектически связанных определений, понятий и категорий. Известны слова В. И. Ленина о том, что «если Маркс не оставил „*Логик*” (с большой буквы), то он оставил *логику* „Капитала”» [2. Т. 29. С. 301].

Суть переворота, совершенного Марксом, отнюдь не заключалась в простом перевертывании метода идеалистической диалектики, хотя сам автор «Капитала» мог давать формальный повод так думать. В предисловии ко второму изданию «Капитала», характеризуя диалектический метод как прямую противоположность методу Гегеля, он писал: «Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург действительно-го, которое составляет лишь его внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» [1. Т. 23. С. 21]. В действительности же это «пересаживание» заняло у Маркса более 20 лет интенсивного интеллектуального труда. Ему пришлось критически переработать всю предшествующую политическую экономию, изучить и систематизировать гигантский фактический материал, бесконечно принимать и отбрасывать гипотезы его отображения как идеализованного мысленного предмета.

В самый разгар работы над первым черновым вариантом «Капитала» Маркс признался: «Для *метода* обработки материала большую услугу оказало мне то, что я по чистой случайности вновь перелистал ”*Логик*»

ку” Гегеля... Если бы когда-нибудь снова нашлось время для таких работ, я с большим удовольствием изложил бы на двух или трех печатных листах в доступной здравому человеческому рассудку форме то *рациональное*, что есть в методе, который Гегель открыл, но в то же время и мистифицировал» [1. Т. 29. С. 212]. Спустя 10 лет в письме к Дицгену от 9 мая 1868 г. он возвратился к этой теме. «Когда я сброшу с себя экономическое бремя, — выражал надежду Маркс, — я напишу «Диалектику». Истинные законы диалектики имеются уже у Гегеля — правда, в мистической форме. Необходимо освободить их от этой формы...» [1. Т. 32. С. 456].

Весьма любопытно проследить изменение оценок К. Марксом и Ф. Энгельсом наследия Гегеля. По преимуществу нападая на его систему в молодые годы, они постепенно берут под защиту диалектику Гегеля. В письме к Ф. Энгельсу от 11 января 1868 г. К. Маркс не без горечи отмечал: «Господа в Германии (за исключением реакционных богословов) полагают, что диалектика Гегеля — «мертвая собака». На совести Фейербаха большой грех в этом отношении» [1. Т. 32. С. 15]. После того, как Ф. Энгельс отругал Либкнехта за непонимание Гегеля, К. Маркс сообщил в письме к Ф. Энгельсу от 10 мая 1870 г.: «Я ему написал, что если он о Гегеле способен лишь повторять старые глупости Роттека-Велькера, то пусть лучше держит язык за зубами» [1. Т. 32. С. 415]. К. Маркс, думается, был полностью согласен с Ф. Энгельсом, который в письме к графине Гацфельдт от 10 апреля 1865 г. писал: «Я, конечно, теперь больше уже не гегельянец, но чувствую все еще большое почтение и привязанность к великому старику» [1. Т. 31. С. 395].

К сожалению, в процессе исторического развития политической экономии социализма судьба диалектического метода была поставлена под угрозу. Произош-

ло расторжение предмета и метода исследования. Выступая на словах от имени диалектики и клянясь ею, общая экономическая теория все больше окостенела и превращалась, используя колоритный гегелевский язык, в «скелет с наклеенными ярлыками». В основе этого лежала сложная совокупность факторов, среди которых далеко не последнюю роль играли социально-политический климат во времена культа личности и застоя, монополизм в науке, а также облегченные представления о познавательных функциях общественных наук.

После 1956 г. политической экономии социализма был предоставлен исторический шанс очищения теоретической совести. Однако вслед за непродолжительным всплеском творческой активности вновь взяла верх привычка к построениям, в которых реальная диалектика экономической жизни подгонялась под заранее придуманные схемы.

С начала 60-х годов в нашей литературе популярными стали поиски «экономической клеточки», из которой якобы можно вывести всю систему законов и категорий политической экономии социализма. При этом в качестве образца приводился примененный К. Марксом в «Капитале» метод восхождения от абстрактного к конкретному. И действительно, начав с товара как элементарной формы буржуазного богатства, К. Маркс воссоздал теоретический аналог всей системы капиталистических производственных отношений, вскрыл ее внутреннюю природу и обосновал исторические тенденции ее развития. В этом притягательная сила и пафос великого экономического произведения. Но там, где К. Маркс решал сложнейшую теоретическую задачу, наша политэкономическая мысль впала в схоластическое теоретизирование.

Дело стало представляться таким образом, будто

построение системы законов и категорий политической экономии социализма не составит особого труда, если увенчаются успехом усилия по отысканию «элементарной клеточки» такой системы. И начались бесплодные поиски «философского камня», тогда как действительно научная задача теоретического осмысления хозяйственной практики живого социализма отодвинулась на задний план.

Между тем К. Маркс, работая над «Капиталом», вообще не занимался поисками «экономической клеточки» вне изучения реальных производственных отношений капитализма. Наша же экономическая наука шла в этом вопросе прямо-таки противоположным путем, напоминая, если использовать гегелевское сравнение, того схоласта, который хотел научиться плавать раньше, чем прыгнет в воду. И не по этой ли причине правда в политической экономии социализма потерялась в словах, тогда как в «Капитале» К. Маркса каждое слово дышит правдой.

Именно стремлением дать науку раньше науки было проникнуто обсуждение исходного и основного производственного отношения социализма. В течение почти двух десятков лет не просто поднимались и велись, а прямо-таки навязывались разговоры о том, что лежит в основе системы законов и категорий политической экономии социализма. Вместо того чтобы раскрыть ключевые категории в контексте реально сложившихся закономерностей хозяйствования, делались попытки из априорно принятых посылок конструировать логические схемы, весьма далекие от действительности. Было предложено более десяти вариантов исходного и основного производственного отношения, среди которых наибольшей популярностью пользовались концепции собственности и планомерности.

Немалая часть политэкономов заняла позицию,

согласно которой отправной точкой политико-экономических исследований служит собственность. В зависимости от того, кому принадлежат средства производства, давалась трактовка действию экономических законов, раскрывалась связь фаз воспроизводства, характеризовались мотивы и цели хозяйственной деятельности. Никто не оспаривает роли собственности в качестве условия и предпосылки того или иного типа экономической жизни общества. Но вся беда в том, что проблема собственности приобрела самодовлеющее значение, превратилась в универсальную отмычку, позволяющую быстро, без усилий теоретической мысли получать готовые ответы на вопросы: что такое хорошо и что такое плохо? Все, что связывалось с частной собственностью, объявлялось, как правило, плохим, а что связывалось с общественной — безусловно, хорошим. Вместо того чтобы раскрыть экономическое содержание собственности через обобщение практики живого социализма, экономическая наука подводила жизнь со всеми ее коллизиями и противоречиями под абстрактные определения собственности.

Неизбежным следствием такого подхода стала апология, застоя. Распространились облегченные и упрощенные представления о характере действия экономических законов социализма, из поля зрения выпал вопрос о социально-экономических формах реализации собственности. В учебнике декларировалось: «Каждый член общества проявляет себя сохозяином средств производства путем участия в общем согласованном труде с другими, такими же, как и он, сохозяевами... Трудящиеся заинтересованы в умножении национального богатства и его рациональном использовании» [31. Т. 2. С. 68, 70]. И это говорилось тогда, когда зрело понимание, что быть собственником и хозяином не одно и то же, когда общественная собственность все больше воспринималась как «ничейная».

Вследствие упрощенных представлений о роли собственности, которая все, дескать, определяет, решает, обуславливает и т. п., произошла абсолютизация государственной формы социалистической собственности, отождествляемой с общественной. Нет нужды доказывать, что тем самым глушилась способность к творческому поиску и открывалась дорога утонченной конъюнктурщине.

Сторонники другого подхода к исходному производственному отношению социализма полагали, что начинать изложение системы необходимо с планомерности. Только по внешней видимости позиция эта была альтернативной концепции собственности. Желание дать действительную науку обернулось бесконечными разговорами о том, как понимать планомерность, чтобы, не дай бог, не «замарать» ее товарно-денежными отношениями. Преобладающим стало книжное понимание планомерности, которому противостояла обремененная эмпиризмом практика планирования. До чего же удивительно рациональной и продуманной, а на самом деле придуманной была планомерная организация общественного производства в учебных пособиях, монографиях и статьях. Много писалось и говорилось о преимуществах централизации хозяйственной жизни, но по сути полностью выпали из сферы внимания высокой теории проблемы хозяйственной самостоятельности и ответственности: «Козырной картой» стали положения о выполнении социалистическим государством базисных функций и приоритете хозяйствования в масштабе всего общества, тогда как предприятия были оттеснены на периферию политэкономического анализа, будто национальное богатство может быть создано и приумножено помимо них. Словом, книги писались по канонам, в то время как жизнь развивалась по своим законам. Хотят того сторонники этой концепции или не

хотят, но она играла роль идеологии бюрократического централизма.

Нельзя обойти стороной и столь полюбившуюся многим политэкономам тему о необходимости анализа экономических законов и категорий социализма с позиций выделения их общекоммунистических основ. Эта позиция, ставшая прямо-таки «знаменем» целого направления в политической экономии социализма, представляет, по нашему глубочайшему убеждению, лучшее доказательство бесплодия теоретической мысли, ее насильственного разрыва с правдой жизни.

Допустимо ли с научной точки зрения начинать рассмотрение экономических закономерностей с выделения общекоммунистических черт? Утвердительный ответ на этот вопрос неизбежно уводит науку в область произвольных абстракций. Предметом ее становятся не реальные производственные отношения, а книжные представления о том, какой должна быть или будет, но не есть специфически историческая система общественного производства. В том-то и заключается суть произвольных абстракций, что не они выводятся из реальной действительности, а жизнь во всем ее многообразии подгоняется насильственным образом под эти абстрактные определения. Напротив, научное абстрагирование всегда имеет свои пределы, положенные реально существующими отношениями между людьми как субъектами производства. И не случайно в «Капитале» К. Маркса нельзя найти ни одного примера раскрытия закономерностей экономической структуры буржуазного общества в настоящем через характеристику будущих или возможных в будущем форм производства. Это и понятно, ведь «намеки... на более высокое у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже известно» [1. Т. 46. Ч. I. С. 42. Ср. аналогичное у Гегеля: 3. Т. II. С. 518].

Если бы концепция «общекоммунистических черт» не выходила за рамки теории, то пронизывающий ее абстрактный схематизм не принес бы ощутимого вреда. Однако на деле все оказалось иначе. Будучи продуктом легковесных представлений о путях и перспективах социалистического строительства, данная концепция в свою очередь превратилась в теоретическую предпосылку административно-бюрократического синдрома «забегания вперед». Коль скоро в коммунистическом обществе не будет товарно-денежных отношений, то и в политической экономии социализма на первых ступенях анализа непременно надо от них абстрагироваться. И если в жизни не так, то тем хуже для нее. Идеи о нетоварной природе социализма оборачивались иллюзиями, будто товарно-денежные отношения только мешают и подлежат всемерному ограничению. Коль скоро общекоммунистическим отношениям отвечает только общественная собственность на средства производства, то колхозно-кооперативная форма ее исчерпывает свои возможности и оказывается бесперспективной. Что же касается содействия семейным фермам, индивидуально-трудовой деятельности и т. п., то такая политика заслуживает осуждения, поскольку представляет якобы прямое отступление от принципов социализма. Подобного рода умозаключений, на которых делался политический капитал, можно привести немало.

Одна из главных причин разрыва политэкономии социализма с жизнью заключалась, по нашему мнению, в том, что вместо выведения категорий она стала заниматься преимущественно их подведением под готовые схемы и политические решения. Диалектический путь познания истины «от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике» [2. Т. 29. С. 152—153] подменялся попытками ее декретирования и подгонки под утилитарно понимае-

мую практику, минуя по сути работу самостоятельной научной мысли.

Оправданием такого рода политического утилитаризма долгое время служила крылатая фраза о том, будто «мы диалектику учили не по Гегелю». При всей броскости и внешней привлекательности она содержала в себе отнюдь не безобидный подтекст. В этой формуле отражался губительный факт сознательного принесения теоретических принципов в жертву интересам политической борьбы. Она вносила также вклад в вульгаризацию диалектического метода. Известно ведь, что советский философ Я. Э. Стэн, впоследствии репрессированный, безуспешно пытался обучить «корифея наук» азам диалектической премудрости. В результате планка философской культуры надолго замерла на уровне 4 главы «Краткого курса».

Хотелось бы впасть в соблазн и посчитать те исторические условия, которые тормозили прогресс общественных наук в целом и политэкономии в частности, преодоленными. Возможно, так оно и есть. Но они оставили «наследство», и рецидивы прошлого находят до сих пор различные и совсем не единичные формы своего проявления. Возврат к прошлому станет невозможным только в том случае, если диалектический метод будет подлинной душой теоретического знания.

Наше достоинство — не в овладении пространством, а в умении разумно мыслить. Я не становлюсь богаче, сколько бы ни приобретал земель, потому что с помощью пространства Вселенная охватывает и поглощает меня, а вот с помощью мысли я охватываю Вселенную.

(Паскаль)

В целом вклад Гегеля в политическую экономию трудно оценить однозначно. Он по праву может быть отнесен к тем Колумбам экономической мысли, которые в поисках Индий открывали немало Америк. Но столь же верно и то, что такие открытия вместо света истины подчас усиливали мрак заблуждения. Гегель обнаружил поразительную интуицию в понимании целого ряда вопросов, перед которыми пасовали выдающиеся экономисты. И вместе с тем он порой не шел дальше обманчивой видимости хозяйственных явлений, оставаясь в плену иллюзий буржуазного сознания.

Однажды, когда жена спросила Гегеля, верит ли он в бессмертие души, философ ничего не ответил, молча указав на Библию [19. С. 325]. Можно по-разному относиться к идее личного бессмертия. Но бесспорно то, что в созданной человечеством ноосфере вечной останется точка, имя которой — Георг Вильгельм Фридрих Гегель.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
2. Ленин В. И. Полн. собр. соч.
3. Гегель. Собр. соч. Т. I—XVI. М.—Л.: Соцэкгиз, 1932—1959.
4. Гегель. Работы разных лет. В 2-х тт. М.: Мысль, 1970—1971.
5. Гегель. Наука логики. В 3-х тт. М.: Мысль, 1970—1972.
6. Гегель. Энциклопедия философских наук. В 3-х тт. М.: Мысль, 1974—1977.
7. Гегель. Философия религии. В 2-х тт. М.: Мысль, 1976—1977.
8. Гегель. Политические произведения. М.: Наука, 1978.
9. Агг А. Мир человека как субъекта производства. М.: Прогресс, 1984.
10. Аникин А. В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей экономистов до Маркса. 4-е изд. М.: Политиздат, 1985.
11. Античный способ производства в источниках. М.: Изд-во ГАИМК, 1933.
12. Афанасьев В. С. Этапы развития буржуазной политической экономии. М.: Экономика, 1985.
13. Бакрадзе К. С. Система и метод Гегеля. Тбилиси, 1953.
14. Бродель Ф. Структуры повседневности: возможности и несомненности. Материальная цивилизация, экономика и повседневная жизнь XV—XVIII вв. Т. 1. М.: Прогресс, 1981.
15. Гайденок П. П. Проблема труда в «Реальной философии Гегеля/Сб. работ аспирантов и студентов философского факультета МГУ. М.: Изд-во МГУ, 1962.
16. Гайм Р. Гегель и его время. СПб, 1861.
17. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М.: Школа, 1977.
18. Гулыга А. В. Гегель. М.: Молодая гвардия, 1970.
19. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М.: Академия, 1986.
20. Гулиан К. И. Метод и система Гегеля. Т. I. М.: Наука, 1961.
21. Жорес Ж. Социалистическая история Франции от революции до революции. Т. I. Кн. 1. М.: Прогресс, 1977; Т. IV. М.: Прогресс, 1984.
22. Идеалистическая диалектика в XX столетии. М.: Школа, 1987.
23. Кант И. Сочинения. В 6-ти тт. М.: Мысль, 1984.

24. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгиз, 1960.
25. Киссель М. А. Гегель и современный мир. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.
26. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М.: Наука, 1980.
27. Кэрд Э. Гегель. М., 1898.
28. Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М.: Наука, 1987.
29. Огурцов А. П. Проблема труда в философии Гегеля. Научные труды Московского технологического института. Сб. 15. М., 1960.
30. Политическая экономия (основные проблемы в избранных отрывках)/Под ред. С. И. Солнцева. Л., 1924.
31. Политическая экономия: Учебник/Под ред. А. М. Румянцева. М.: Политиздат, 1976.
32. Рикардо Д. Сочинения. В 5-ти тт. М.: Госполитиздат, 1955—1961.
33. Родбертус К. Экономические сочинения. М.: Соцэкгиз, 1936.
34. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М.: Соцэкгиз, 1938.
35. Рюде Дж. Народные низы в истории 1730—1848. М.: Прогресс, 1984.
36. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М.: Прогресс, 1968.
37. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962.
38. Соловьев Э. Ю. Разделял ли Гегель трудовую теорию стоимости?//Вопросы философии. 1959. № 3.
39. Сталин И. В. Соч. М.: Госполитиздат, 1946—1951.
40. Фишер К. Гегель, его жизнь, сочинения и учение. Два тома. М., 1903.
41. Франклин Б. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1956.
42. Экономическая история капиталистических стран/Под ред. Ф. Я. Полянского. М.: Изд-во МГУ, 1985.
43. Bodei R. a. o. Hegel e'la economia politica. A curadi S. Véca. Milano, 1975.
44. Chamley P. Economie politique chez Stewart et Hegel. P., 1963.
45. Lukacs D. Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Geellschaft. B., 1954.
46. Marcuse H. Reason and Revolution. Hegel and the rise of social theory. Boston, 1960.
47. Plant R. Hegel. L., 1973.
48. Plant R. Hegel and Political economy//New Left Review. L., 1977. N 103.
49. Zok-Zin-Lim. Der Begriff der Arbeit bei Hegel. Bonn, 1966.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Гегель и его время	6
1.1. Экономический и политический строй Германии конца XVIII — начала XIX вв.	6
1.2. Интеллектуальная среда	11
1.3. Занятия политической экономией	20
Глава 2. Союз философии и политической экономии	27
2.1. «Наука, делающая честь мысли»	27
2.2. Альфа и омега политической экономии	35
2.3. От «невидимой руки» к экономическим законам	42
Глава 3. Вопросы теории товара и денег	55
3.1. Разделял ли Гегель трудовую теорию стоимости?	55
3.2. Абстрактный и конкретный труд	60
3.3. Стоимость, цена, деньги	67
Глава 4. Социально-экономические противоречия в системе Гегеля	78
4.1. «Гражданское общество» в структуре социальных отношений	78
4.2. Противоречия капиталистического накопления	88
4.3. Границы гегелевской диалектики социальных отношений	95
Глава 5. Судьба диалектического метода	100
5.1. Гегель и молодой Маркс	100
5.2. Диалектический метод после Маркса	114
Эпилог	124
Литература	125

Хандруев А. А.

X19 Гегель и политическая экономия/Редкол.: Л. И. Абалкин, А. В. Аникин, В. С. Афанасьев и др. — М.: Экономика, 1990. — 127 с. — (Из истории экон. мысли). — ISBN 5—282—00086—5

Великий философ Г. В. Ф. Гегель (1770—1831) оставил также глубокий след и в области политической экономии. К сожалению, эта его сторона как гениального мыслителя малоизвестна. В научно-популярном очерке освещаются экономические направления его исследований, излагаются взгляды на предмет и метод политической экономии, приводятся биографические сведения. Показан сложный путь развития человеческой мысли по раскрытию экономических отношений, говорится о важнейших элементах экономической теории, которые предопределили возникновение учения К. Маркса.

Для читателей, интересующихся политической экономией и ее историей.

X $\frac{0603000000-136}{011(01)-90}$ 32—90

ББК 65.02

Научная

Хандруев Александр Андреевич

ГЕГЕЛЬ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

Зав. редакцией *Б. А. Мясоедов*. Мл. редактор *Е. Я. Петрова*. Техн. редактор *А. В. Кузюткина*. Худож. редактор *В. П. Рафальский*. Корректор *Е. А. Киселева*. Оформление художника *В. Н. Мертелова*.

ИБ № 3336

Сдано в набор 08.01.90. Подписано к печати 01.03.90. Формат 70×100^{1/32}. Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 5,20/5,36 усл. кр.-отт. Уч.-изд. л. 5,49. Тираж 30 000 экз. Зак. **290**. Цена 35 коп. Изд. № 6546.

Издательство «Экономика», 121864, Москва, Г-59, Бережковская наб., 6.

Отпечатано в типографии им. Котлякова издательства «Финансы и статистика» Государственного комитета СССР по печати, 195273, Ленинград, ул. Руставели, 13 с диапозитивов Ярославского полиграфкомбината Госкомпечати СССР, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.

35 коп.

ГЕГЕЛЬ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

Политическая экономия, если она не хочет потерять собственного лица и предмета, должна идти навстречу философии. Гегель был одним из первых, кто осознал связь между подлинно научным пониманием мира хозяйственных отношений и культурой мышления. Изучение наследия великого философа дает все основания говорить о нем как о самообытном экономисте, во многом опередившем время. Гегель внес заметный и пока еще по достоинству не оцененный вклад в разработку предмета политической экономии, теории товара и денег, накопления капитала и диалектики социально-экономических отношений.

